А. Галанов
Н. Ромова

ДРУГ ЧЖУНГО

А. Галанов, Н. Ромова

ДРУГ ЧЖУНГО

Глава первая

Вышли из дому и зашагали не оглядываясь. И даже когда проходили базаром, не остановились, хотя пироги у бабки Якимихи так и манили. Вот дьявол-искуситель! Бабка сидела к пирогам боком и зазывала прохожих.

Никита, остерегаясь соблазна, прибавил шагу.

А Саня не выдержал:

— Давай, Никита, сам бог посылает... — и облизнулся, словно смакуя уже горячее, жирное тесто.

— Брось! Пошли... Нечего связываться... — Никита дернул друга смуглой худой рукой, чуть ниже локтя прикрытой рукавом заплатанного кафтанчика.

Только перед выходом из города остановились Саня с Никитой напиться у Кабана — большого казанского озера, из которого бабы таскали воду для питья и прочих домашних надобностей. Здесь бабы и стирали. Как всегда в этот час, в озере купали лошадей его преосвященства архиепископа казанского.

Чуть не полчаса потеряли дружки, любуясь конями. Пускай только семинаристы они, но не дураки разбираться в конских статях.

— Мерин, вона, что брыкается, больно хорош!.. Небось резов! А, как думаешь, Никита?

— Видно, резов! — Никита шагнул, точно изготовился прыгнуть на сытые, крутые бока вороного красавца.

— Погоди! Итти надо... — заторопил Санька.

Пошли. Солнце припекало заметней, но дышать было легче, особенно когда исчезли противные зловонные испарения Кабана. По-весеннему приветливая росистая трава освежала босые запыленные мальчишеские ноги.

— Хорошо бы дотемна с полпути пройти, — который раз повторял Саня. — Да нет, не одолеть. Вот если бы на телегу попроситься. Гляди-ко, опять тянутся.

— Кто это задаром подсадит? Платить-то чем? А клянчить не стану. Так дойдем!

В негустой рощице решили отдохнуть. Кресты и луковки казанских храмов поблескивали уже где-то далеко-далеко. А за ними башня ханши Сюмбеки, жены последнего властителя Казани. Это ей, красавице Сюмбеки, изгнанной в Москву, приписал летописец темное слово: «Спаде венец с главы твоя, ты же изнемогши падешь, яко зверь, не имущий главы».

Разламывая краюху, что еще за неделю до роспуска припрятали друзья вместе с куском сала, сбереженным от подачек старших риторов, Санька махнул рукой:

— А вона, глянь, посредине наша Воскресенская. Семинария за ней спряталась. Заутреня небось уже отошла.

Но Никита не слушал. Лежа на спине, задрав голову, не отрывался от неба. Ввалившиеся щеки будто расправились, и на широких выпяченных губах блуждала улыбка. Оттянутые к вискам крупные карие глаза сияли. Оказывается, существует в мире бездонное, ясное небо и громады облаков. Это только там, в семинарии, он забыл о них. А сейчас они плывут над головой, неведомо откуда взявшиеся, и кажется, вот-вот, попирая их, как изображено это на стене семинарской часовни, покажется высокий, с подъятой десницей, с длинной курчавой бородой сам бог Саваоф.

Черствый хлеб, которым заели пожелтевшее, залежавшееся сало, показался вкуснее соборных просфор. Однако засиживаться не стали, двинулись. Только сделали с десяток шагов, как Саня рванулся к дороге. Порожняком по ней тянулся недлинный обоз.

— Гляди, на подводе наши сидят... Ей-бо! Голиков с Ксенофонтовым... Ну и ловки! Едут, а мы плетемся.

И с подводы заметили, заорали:

— Эй, Никита, Санька, давай садись!

Последняя телега приостановилась. Длинным кнутом ямщик подманил пешеходов. Он был бородат, даже глаза спрятались в густой щетине. А смотрел беззлобно. Ткнул в дружков поочередно кнутом, жалостливо спросил:

— Чьи вы, заморыши? Далеко ли путь держите?

Никита только открыл рот, чтобы объяснить, как Голиков отчаянно замотал головой: молчите, мол, сам скажу.

— Соседнего прихода они, причетник там ихний дядька, — и, довольный, подмигнул дружкам.

— Ну, что же, Степан, подвезем, пожалуй? — крикнул

бородатый в сторону ближней телеги, на что ответил странно тонкий, пронзительный голос:

— Чего еще?

— Прихвати парочку кутейников! Много не потянут, не тяжелы. В чем только душа держится.

Мальчики рысью догнали подводу.

— Сено вот и веретье подложите, все мягче будет, — сказал Степан. Он показался мужиком в летах, однако удивил живым взглядом зеленоватых глаз. Еще приметили семинаристы изуродованный нос без ноздрей и реденькую седоватую бородку.

— Эх вы, братва многострадальная! — все тем же тонким голосом продолжал Степан. — Ежели задремлю, стегните коней. Слышь, божьи души...

— А мужики хорошие, — зашептал Санька, когда поудобней пристроились на сене и покрылись веретьем. — Не дразнятся...

Припомнилось, как бородатые верзилы на казанских улицах улюлюкали, кричали вслед: «Хватай, хватай кутейников!» Бывало, что и хватали.

— Ноздри — видал? Вырваны, — не унимался Саня, который не любил молчать. — За что бы это?

— За что, за что. За всякое казнят... Мужик ведь.

— Может, он разбойником был? — предположил Саня и тут же улыбнулся — до того не вязалось это слово с беззлобным обличьем Степана.

— Всякие бывают разбойники, хороших, думаешь, нет? Про одного слыхал, у него монахи в ватаге были: богатым не спускал, за бедных вступался. — Никита украдкой оглянулся на ямщика, точно по согнутой его спине хотел угадать, в какой это вольнице он разбойничал, нападал на богатых, одаривал бедных.

А Степан не собирался дремать. Довольный, что есть собеседники, обернулся, заговорил:

— Нам, чего же, подвезти не жалко, порожняком ведь. Когда вот в город, конечно, с кладью тяжеленько было, богато груженные ехали, помещице нашей Аплехтиной Евпраксии Яковлевне оброк возили... Она нынче в городе задержалась. Сказывали, попозже пожалует: дочь в городе засватала. У ней в Казани дом каменный, сам губернатор в гости ездит. Небось слыхали!

Семинаристы поддакнули. Про казанскую барыню, конечно, услышали впервые, но признаться не посмели.

— Барыня большая, на всю губернию гремит. Люта, с малолетства девок своих хлестать привыкла, а уже после того, как они сами ее при Пугаче розгами секли, совсем озверела...

Степан прочитал в мальчишеских глазах загоревшееся любопытство и не спеша продолжал:

— Ну да, при Пугаче, который царем Петром Федоровичем объявлялся. Не помните, чай, малы... Уж поболе десятка годков прошло, как мимо нашей деревни к Казани с войском он двигался. — Степан как бы ненароком оглянулся и, понизив голос, добавил: — Крестьяне его за царя признали, многие с ним уходили.

Никита и не заметил, как у него вырвалось:

— И ты тоже?

— И мы с царем ходили. За это и меченый, — подтвердил Степан и потрогал изуродованный нос без ноздрей, вырванных палачом.

— А ты этого царя близко видал?

— Как не видать! К нему всех допускали. От него воля народу шла. Сидит бывало на престоле, кафтан из красного бархату, с позументами, шапка в жемчугах, а к нему кто хошь подходи. Обидели — ему жалуйся, милости хочешь — проси. Отказу не было. Заводских крестьян сразу на волю отпустил, помещичьих не успел — не дали.

Нельзя было не верить Степану. Конечно, тот царь был настоящий. И раньше о нем слышали страшное и чудесное. Но ему, этому царю, отрубили ноги, руки, голову — замучили, казнили. В церкви читают анафему — вечное проклятие, с алтаря клянут, зовут вором Емелькой Пугачевым.

— А вы, кутейнички, на побывку домой? Гляжу, горькая ваша доля. Совсем отощали от часословов да требников. Лозу-то часто пробуете?

Мальчики не отвечали. Не хотелось ни говорить, ни вспоминать о том, что ушло сейчас куда-то далеко. Неужели они лишь сегодня утром сошли с крыльца семинарского здания? Сразу представилось, как всякий день там на рассвете их будили и, едва они успеют ополоснуть лицо, вели в церковь на раннюю полунощницу. Потом отправляли в класс, и там за партами они до ночи зубрили, зубрили, зубрили грамматику: греческую, латинскую, славянскую, древнееврейскую.

Нет, все это ушло, кануло в вечность. Конечно, в вечность, если впереди три месяца — сто дней! — бесценной свободы.

— Какого прихода будете?

— Мы дальние, — объяснил Никита, — за Чебоксарами наши места. Может, слыхали Бичурино село? Шинери почувашски.

— Из чувашей, значит. За Пугачом ваше племя все двинулось. Веру старую сберечь думали. Попы-то силком кре-

стят, некрещеных с земли сгоняют... Видишь, а теперь и попов чувашских поставили... Родители кто?

Никитин отец — дьячок Иаков. А кто он — чуваш или русский? — об этом Никита не задумывался. Как все в деревне, родители хлопотали на земле, крестьянствовали, бывало недоедали. И прозывался попросту — дьячков, Якова-дьячка. А вот теперь по повелению семинарского начальства Никита стал Бичуриным, откуда родом. Бумагу такую выдали с печатью. На ней крупно, красиво выведено: Бичурин Никита, сын Иаковлев... А Сане велели прозываться Карсунским.

Жаль, с дружком они не из одной деревни. На парте рядом сидели, по душе друг другу пришлись. А сейчас надо расставаться. Хорошо бы с собой дружка взять! Никита свел бы его в места, которые не всем открыты. Орешник там густой, не пробиться, но есть лазейка, она ведет к пруду, чистому-чистому, каждую рыбешку на дне различишь. В озере хорошо купаться: жжет студеная вода, и напуганные мальки, как молнии, разлетаются в стороны. Бывает, туда приходят деревенские. За озерком полянка, обнесенная частоколом, а внутри длинный невысокий помост. Полянку эту называют кереметью. На ней живет дух — кереметь, от него зависит горе и счастье людей. Для него режут гуся, бывает, и барана. И все, кто пришел к керемети, тихо, хорошо поют. Но к озеру тогда чужой не подходи. Кереметь этого не любит.

— Когда же к месту добредете? — спросил Степан. — Обозу нашему недалече. Проедем постоялый двор, переночуем. Потом рукой подать. Дойдете ли до дому-то?

— Дойдем! — в один голос ответили оба.

Как это не дойти до дому, где ждет не дождется мать!

А все-таки спасибо Степану! С полпути, пожалуй, подвез. И на постоялом дворе из своей миски дал горячих щей похлебать. А хозяин и пускать не хотел.

— Гнать, — говорит, — этих дармоедов надо! Поповское их племя. Откуда у них гроши за щи заплатить...

Ночевать во дворе не позволил. Хорошо, Степан на подводе оставил. Немного подремали. Темно еще было, двинулись с обозом дальше. Степан заснул, сами лошадей погоняли.

Солнце поднималось большое, веселое. Как будто здоровалось: «Ну и хорошо, опять вас вижу...» Так и тянуло громко, в голос крикнуть: «Здравствуй, здравствуй, красное!»

Скрылся предутренний туман, расцветилась степь косяками первых своих ранних цветов, зазеленела не успевшим пожелтеть, умытым росой ковылем.

Дальше пошли земли Степановой барыни, черные, вспаханные, засеянные мужиками поля. Не окинешь и глазом!

По краям клиньями лепились клочки мужицкой землицы. Ровным шагом шли по ней запоздалые сеятели, разбрасывая зерно из лукошек.

Степан проснулся, схватился за вожжи.

— Гляди, доехали! Господский дом видать.

За осиновой рощей показалась деревня. Залаяли собаки, бросились навстречу обозу. Степан беспокойно поглядел вокруг.

— Пожалуй, слазьте. Увидит приказчик, как бы не огрел всех троих кнутом. Зверь он у нас...

Спрыгнули, на ходу попрощались. Степан придержал лошадь, порылся в карманах, достал недоеденную лепешку, головку чесноку.

— Возьмите, не обессудьте. Да, вот что! Когда шибко умаетесь, ноги натрудите, ложитесь в канавки, ноженьки вверх протяните и крапивой их хорошо постегайте! Похлеще! Не бойтесь. Сразу будто огнем охватит, а потом отойдет, опять сила появится.

Поблагодарили и, не доходя до околицы, свернули в сторону. Вдруг и впрямь встретится приказчик или кто другой. Заругают зачем по чужой земле шляетесь.

Шли, об усталости не думалось, только бы домой поскорей Пятки до крови содрали, а все шагали Речушка встретилась; окунулись, посидели на бережку, болтая в воде ногами

В лесу сразу сердце у обоих екнуло: серый мелькнул... Да, видно, не голоден был, повернулся лениво, ушел.

Настоящего страху глотнули, когда из лесу выбрались. К Чебоксарам подходить стали, прямо на них бричка тройкой налетела. Из нее пьяный урядник как заорет:

— А ну, стегани этих бродяг!.. Покажу — по дорогам таскаться, нищенствовать! Не разрешаю, не сметь!.. Проучу, будут знать!..

Отбежать не успели, как кучер соскочил с козел, огрел кнутом Саня заплакал, побежал всхлипывая. А Никита остановился, только затрясся весь Поднял кулак, замахнулся, щуплый, неприметный рядом с бородатым черным детиной — ямщиком Тот даже кнут от удивления опустил. А потом как замахнется снова! Да лошади рванули, пришлось кнут опустить, за вожжи схватиться. Но все-таки успел пихнуть Никиту Упал парнишка, до крови ссадил руку о камень, а не заплакал. Тройка ускакала, промчалась, дребезжа и обдавая пылью, а мальчик стоял, закусив губу, глядел вслед. Подбежал Саня, дернул за рукав.

— Уйдем с дороги, Никитушка! Страшно, убьют здесь, пожалуй...

А Никита все молчал. Отвернулся, задышал часто-часто.

— Рука у тебя в крови вся... Дай траву приложу. Больно небось? Ты чего же не побежал со мной? В кустах бы схоронились. — Саня погрозил кулаком: — У... пьяный шайтан, дурной!

Чебоксары обошли задами. У моста расстались. Санино село за рекой, а Никите берегом еще верст пятнадцать брести. Распрощались, слово дали в гости приходить и зашагали поодиночке.

Взгрустнулось Никите, когда один остался, но все забыл, лишь овраг увидел, за которым бичуринские земли начинались. Вот оно — Шинях, Шинери, Бичурино тож.

Сбившись в кучу, стоят избы. Не поймешь, где улица, где двор. Прадеды еще так строились. Старший в роду закладывал дом, городил забор. Подрастали дети, селились тут же в ограде, далеко не уходили. Не хватало места — селились за забором, поближе друг к другу. Всем вместе, рядом не так было страшно. Сами ни на кого не нападали. С давних времен были известны как люди мирные. По слову «йваш» — «смирный», «тихий» — и зваться стали: чуваши.

Сбитая из бревен, выглянула церковь с деревянным крестом на колокольне. Вон рядом отцова изба. Неужели сейчас он обнимет мать, услышит родной певучий голос, увидит глаза, что с тоской и лаской глядят из-под надвинутого на брови белого сарбана!

Под ноги кинулась черная лохматая собачонка, завертелась, завизжала, заюлила. Соседский мальчишка, скакавший с палкой в руках, испуганно отступил, не узнал.

«Цыц!» — прикрикнул кто-то из избы на собаку. Мать? Конечно, она! Столкнулись на пороге. Опустив руки, она, как неживая, застыла на месте и вдруг заголосила:

— Никитушка, сынок, ты ли?.. Да что же с тобой сталось? Черный совсем, уж не больной ли?

Обняла, заплакала.

— Худой какой, в пыли, устал, заморился небось? Баньку скорей растоплю... — Мать кинулась к двери. — А может, поешь раньше? Молока налью... Нет, раньше в баньку...

Не помнила сама, что говорила, но все в руках кипело.

Вымытый, в чистой рубахе сидел Никита в родной избе. Распарившийся, с мокрыми, прилипшими ко лбу волосами оглядывался, не в силах удержать улыбку блаженного покоя. Все было на месте, по-старому.

Дымилась глиняная печь — кумага, и дым от нее, клубясь, плыл наверх в окно. Все в том же, треснувшем сбоку, горшке

варился над очагом яшки — суп, для которого в честь гостя мать уже успела зарезать петуха.

Напротив киот с черными, закопченными иконами. Трудно разобрать на нем лики богов — спаситель, божья матерь, чтимый в селе Бичурино бачка-чудотворец Николай-угодник. В окне, что прорублено рядом с киотом, попрежнему натянут на раму воловий пузырь: стекла, видно, так и не купили.

Утирая счастливые слезы, не сводя с сына глаз, мать собирала на стол, тащила из клети все, что давно берегла для долгожданной встречи: сотовый мед, сочный, слезящийся сывороткой сыр, темную пенящуюся брагу.

В дверь уже заглядывали соседки.

— Знатный гость пришел к дьячку Иакову. Хороший сын... Гляди, какой богатырь стал... — и обращались к матери: — Радуйся, мать...

Мать поставила перед Никитой миску жирного, пахучего, приправленного травами супа. Перекрестившись на киот, мальчик хлебнул горячего варева, которое, казалось, вобрало в себя всю сладость и тепло домашнего очага.

Гости расселись на саганэ — широких, во всю стену, нарах, — без них не встретишь чувашской избы. Негромко, степенно женщины задавали вопросы.

Смущенный вниманием, не успевая отведывать яств, что пододвигала мать, Никита отвечал, слегка запинаясь, поглядывая вокруг. А все-таки мать самая красивая. Как высоко и прямо держит она голову, с которой до пояса спускается широкая, с кумачовой каймой лента сарбана. Узкое, с длинными бровями, с тонким, прямым носом лицо ее прекрасно. Краше всех драгоценных камней яркая вышивка ее холщовой рубашки, перетянутой поясом с нашитой на нем пестрой тесьмой.

— А правду говорят, в Казань царь приезжал? Видал ли его Никита? Сказать бы ему, как обижает деревенских писарь: угоняет скот, отбирает лошадей...

Это жаловалась добрая мачка Куль. Она всегда приходила помочь матери в трудную минуту. Если кто-нибудь в семье заболевал, мачка Куль торопилась «отнести» болезнь. Срезала у заболевшего прядку волос, завертывала в тряпицу и где-нибудь, подальше от дома, закапывала в землю.

Старая, сморщенная бабка Аса посмеялась над Куль:

— Глупая, не понимает, что говорит... Что может сделать писарю белый царь, хоть он и царь над всеми царями?

Никита не смел возразить старухе. Да он и сам не был уверен, что царь сильнее волостного писаря, который, если хотел, мог отнять у деревенских все их имущество, увести корову, лошадь, а самих хозяев отстегать плетью. Разве не

набросился однажды писарь со своими помощниками на Никитиного отца, когда тот хотел заступиться за обиженного прихожанина? Конечно, Никита кинулся бы на обидчика, да что могли они с отцом поделать против трех здоровенных молодцов, которые вытолкали их из избы. Тогда узнал Никита, что и отец может плакать.

...Но почему так громко смеются женщины? О чем спрашивает молоденькая Альчи? Ого, она надела на голову украшенную бусами и блестящими подвесками хошпу — убор, который носят только замужние женщины. Альчи, значит, уже выдали замуж. А еще прошлым летом она носилась взапуски с деревенскими ребятами. Интересно, высватал ее жених или украл? Наверное, украл. Добровольно Альчи не выдали бы замуж так рано. Ее родителям самим нужна работница в доме.

— Да что же ты молчишь, Никитушка? Отвечай. Альчи тебя спрашивает, — мать прячет в губах улыбку. — Правда ли, что в Казани женщины под кибе надевают обручи?

Услышав, что повторяют ее вопрос, Альчи, сдерживая смех, прыскает так, что все побрякушки ее хошпы громко, долго звенят.

Снова вмешивается старая Аса:

— Молода, глупа Альчи, разве ребенок может знать, что женщина прячет под своим кибе...

Дверь в избу широко распахивается. Протягивая к сыну руки, худой, высокий, сутулый, стоит на пороге дьячок Иаков.

— Отец!..

Губы сына прижимаются к сухой, шершавой руке, которая привычным движением осеняет голову мальчика крестным знамением.

— Сын, пришел... Сын мой, — повторяет отец и, не находя слов, долго молча глядит в глаза Никиты. Вот он, его сын... Вернулся оттуда, где учат, открывают свет истины. Благодарение богу, мальчик не останется темным, как его отец! Мальчик будет все знать. Смиренный дьячок верил в это. С самых ранних лет его сын разве не проявлял удивительной понятливости? С легкостью одолевал всякую премудрость, какую мог передать ему отец. Научился читать и славянские и греческие книги — все, что нашлось в церкви. И затрепанную греческую грамматику, что подарил батюшка, чуть не в месяц выучил Никитушка наизусть, удивив весь церковный причт. Благочинный спрашивал мальчика и подряд и вразбивку, и Никита ни разу не сбился. Потому и случилось, что батюшка сам отвез Никиту в Свияжск и определил в училище нотного пения. Оттуда сразу же послали мальчонку

в Казань и, не в пример сверстникам, приняли в третий класс духовного училища при Казанской семинарии.

Не было у Иакова светлее минут, как представлять сына взбирающимся к вершинам мудрости. О, он не сомневался, что мальчик стал гордостью учителей и наставников. Дьячку хотелось сейчас же расспросить сына, чему обучили его. Не терпелось узнать, что же открылось сыну из того, что продолжает оставаться темным для него самого. Но взглянул на жену и подумал — она, пожалуй, упрекнет: мол, не думает о здоровье ребенка, готов уморить его ученьем. Не позволит тут же, с дороги усадить мальчишку за книги. Решив, что это все равно от него не уйдет, Иаков утешился и добродушно произнес:

— Возрадуемся возвращению чада нашего, вкусим дары бога-вседержителя...

Мать зачерпнула резным деревянным черпаком густой напиток, оделяя сидящих за столом. Женщины, причмокивая, пригубили брагу.

У нашего хозяина сладко вино, —

протянула старая Аса слова застольной шуточной песни и осушила полную чашку. Выцветшие глаза старухи блеснули, она продолжала надтреснутым, но еще звонким голосом:

Да хмеля туда мало положили...
У нашего хозяина яшки хороша,
Да соли туда пожалели.
Не мы это сказали —
Ребятишки так болтали.
У нашего хозяина хозяйка хороша,

Дальше подхватили все гости:

Да сарбан у ней немного темноват.
У нашего хозяина сын хорош,
Да волосы долгоньки отрастил.

Крепка была брага у матери, развеселились, расшумелись за столом Заставили и Альчи повторить песню, что недавно пели подружки, когда жених брал невесту из дома отца.

До восхода солнышка
Пусть встанет жена, умоется.
Ах, ах, проглядели, —
Не смотревши, взяли ее.
Пока не проснулась ворона,
Пусть скорее сарбан закрутит.
Ах, ах, проглядели, —
Не смотревши, взяли ее.

Пока не проснулись пташки,
Пусть котел почистит, подвесит.
Ах, ах, проглядели, —
Не смотревши, взяли ее.

Долго не унимались гости, шумели, величали дьячка и ученого сына его. Все смешалось в какой-то гул, глаза Никиты слипались. А гости уже кланялись хозяевам, покидали избу.

Мать расстелила на саганэ волосяные подстилки.

— Пора на покой.

Лежа у ног матери, на старом месте, Никита вздохнул:

— Хорошо!..

Так легко, так спокойно может быть только тогда, когда мать рядом, а над головой родной кров. Мальчик закрыл глаза, и видения дня окружили его. Никита погрузился в сон, что равно покоит людей и на горьком ложе чужбины и на голых досках родного крова.

Глава вторая

Двух дней не прошло, а уж Никита с рассветом увязался за отцом в поле. Мать уговаривала:

— Куда ты?.. Отдохнуть не успел. Не побаловался, не побегал с дружками. Обождал бы, наработаешься, успеешь.

Никита обнял мать, простился и упрямо зашагал рядом с отцом. Понимал, что значат лишние, хотя бы слабосильные, мальчишеские руки в бедном дьячковом хозяйстве. Сам видел, как тяжко родителям. Все примечал. То же ведро у матери — старое, проржавленное... А сколько разговоров о новом ведре было, когда и в Казань-то еще не собирался. И ни щепотки чаю в доме: ни плиточного, ни рассыпного. Довольный, косился дьячок на жену, когда она заваривала щепотку сухой черной травы. Прихлебывал, смаковал горячую коричневую воду. А сейчас о чае забыл: не хватает на это. Да и откуда их взять, денег-то? С прихожан дьячок Иаков не берет: у самих, говорит, ничего нету. Разве иногда батюшка что-нибудь уделит. А в поле много ли один сделаешь! Да и работать когда? То крестины, то отпевание, а то свадьбы пойдут. В селе теперь нет некрещеных. Начальники, — сам архиерей с ними приезжал, — всех заставляли православную веру принять. Конечно, к керемети еще ходят. Но об этом надо молчать. Отец прихожан не укоряет, жалеет. И они уважают бачку-дьячка: на покосе, на уборке подсобляют. Иначе как справиться? Никита глянул на отца. Вдруг увидел — не бросилось в глаза сразу, — ссутулился отец, выше поднялись плечи, глубже ввалилась грудь. До боли стало жаль родителя. Не казался уже отец всесильным и всемогущим, как думалось недавно.

Когда вчера под вечер уселись на крыльце и, разложив

на коленях вытащенную из-под киота книгу церковных песнопений, Иаков попросил Никиту прочесть открытую страницу, вышло, как будто учителем был теперь не отец, а сын.

— Из несущего словом созидаемая, совершаемая духом... — читал Никита, а дьячок перебивал:

— Как же из несущего и вдруг сотворено, создано словом, откуда же взято все? — заглядывал в глаза сыну Иаков. — Наставники не объясняли? Они ведь просветлены знанием, осенены мудростью.

Молчал Никита. Рассказывать ли отцу? Сердцем почувствовал: нет, лучше промолчать. Зачем отцу знать, как тяжко Никите в семинарии, как горько там учение. Может, и просветлены мудростью наставники, но далеки они от учеников, не делятся тем, что знают. Гневаются, укоряют тех, кто любопытствует, сомневается.

«В книгах все сказано, учи отсель и досель, не ленись, будь радивым, все уразумеешь».

Тех же, кто не разумеет, секут. Больно, нещадно секут лозой. Правда, сам он, Никита, лозы еще не испробовал...

Как приняли его тогда в третий класс, сел он на последнюю парту, сжался, маленький стал, невидный. Кругом все чужие, шумят, что-то выкрикивают. Не заметил, как вырос перед ним длинный, с большими красными ушами парень. Уставился на Никиту и ну орать:

— Видали, братие, новичка?.. Глядите, паршивый щенок меж нами объявился.

Все тут к Никите оборотились.

— Всыпать ему!.. Всыпать!.. — потребовали зло.

Чьи-то руки теребили его, больно щипали, кто-то дал подзатыльник. И тогда появился Саня. Пробился под партами, проскочил под ногами самых долговязых. Встал перед толпой.

— Чего пристали? У... злыдни!..

Да и колокольчик тут задребезжал, на пороге, глядят, учитель. Все отвалились от новенького, бросились по местам, схватились за книги.

Первый урок — греческий язык. Сразу же поднялся аудитор.

Чтоб не утруждать учителя, семинаристов спрашивали из них же назначенные аудиторы. Они записывали, кто прилежен, кто нерадив, не знает урока. Не пожалеешь грошей, аудитор укажет — «знает». Невзлюбит — напишет «плохо», а то и «не знает совсем». Учителю оставалось одно: приказать дать лозу лентяям и нерадивым, то бишь беднякам, неимущим. Дежурный ученик тут же приводил приговор в исполнение.

Аудитор был тот самый черноволосый, долгоухий парень, что науськивал класс на новичка. Изогнувшись, он вытащил тетрадь, положил на кафедру.

— Вот он, списочек.

Учитель, лениво развалясь, пробежал написанное, поднял голову

— Кто это тут новенький? Едва появился и уже посмел не выучить урока. Дневальный, лозу! Всыпать ему сейчас же. Да, смотри, не перепускай... Покажи, как у нас учат...

Ни тогда, ни после не мог понять Никита, как это случилось, что так спокойно прозвенел его голос:

— Неправда, знаю урок! Не спрашивал он меня. Никто не спрашивал.

На минуту стало небывало тихо. Опять все оборотились к Никите. А Саня, — он так и остался сидеть рядом, — беззвучно выдавил:

— Ой, молодец ты! — и тут же испуганно пошевелил губами: — А не врешь, неужто взаправду знаешь?..

И вдруг неслыханное! Учитель усомнился в сообщении аудитора, пожелал выслушать новичка.

Теперь, когда Никите приказали говорить, голос его задрожал, едва-едва начал:

— Глаголы, имеющие в первом лице окончание на...

— Верно, давай... — шептал Саня, и Никита говорил все смелей. Не сбившись, наизусть прочел правило, подтвердил примерами.

— Та-а-ак... Хватит, садись, — протянул учитель и ткнул указкой в аудитора: — А ты как посмел соврать мне, скотина? Почему записал «не знает»? Дневальный, высечь аудитора.. А его, — указал на Никиту, — будет спрашивать другой.

Не думал Никита, что в первый же день найдет в новой жизни и друга и врага. Саню с той поры будто привязали к новенькому. Не отставал от Никиты. Хотя был года на два постарше, глядел малолеткой. Смышленый был, не хуже дружка, но памятью послабее. А Никита с первого дня всех удивлял. Откроет книгу — и не взглянул будто, — а спроси, наизусть отчеканит. Саня за ним повторял, но, как ни старался, все же собьется, просит помочь. Тот снова буква в букву другу втолковывает. Так и заучивали. А что за выученным скрывается, расспрашивать не положено. Да и спросишь ли тех, от кого доброго слова не слышали?

Отец вот сомневается: «сотворено из несущего». Но может ли кто объяснить это?

Так ли была создана земля, по которой идут они сейчас с отцом, как учила библия? А может быть, так, как рассказывал старый Нягось, самый чтимый в селе человек? Нягось

К стр. 21.

говорил, что раньше была только вода, а под ней где-то глубоко скрывалась никому не видимая земля. Ни бог, ни его ангелы не могли ту землю достать. И только шайтан — дьявол — взялся добыть землю с глубокого дна. Нырнул, выплыл обратно и выплюнул землю богу в ладонь. Бог разбросал землю, и стала она видимой; поселил на ней бог людей.

Но шайтан не всю землю отдал богу, утаил во рту кусочек. Только стал бог замечать — пухнет губа у шайтана, ударил по ней, до крови разбил. Брызнула шайтанова кровь на землю, и там, куда она попала, народились новые шайтаны и стали людям вредить.

Хотя и не любил бог шайтана, но за его услугу, за то, что землю со дна достал, позволил всем шайтанам жить в воде, а на земле появляться разрешил не часто. Вот когда вылезают из воды шайтаны, тогда и вредят они людям, насылают на них шир-шар, сухую беду.

Немало других рассказов слышал от деревенских стариков Никита. Когда на праздниках собиралась молодежь и парни показывали свою удаль, боролись, скакали на конях, а охотники стреляли из ружей, старики любили вспоминать о богатырях, великанах — улапах, которые давно-давно еще жили на земле.

Вот это были могучие удальцы! Огромные деревья вырывали, как степные былинки. Когда улап встряхивал свой лапоть, сор, который сыпался оттуда, превращался в огромные курганы. И сейчас эти курганы стоят в поле.

Об одном только не любили говорить старики: о бедах, которые насылают на людей шайтаны.

Многими путями идет беда. Не вспоминай о ней, и она забудет тебя. Обойдет тебя град, что губит посевы, засуха, что жжет урожай, парша, от которой падает скот.

Но бояться надо не этих бед. Не они несут гибель людям, разоряют дом, сгоняют хозяина с места, где жили отцы и отцы отцов. Самая страшная беда называется шир-шар, суд, напраслина. Ибо суд и шир-шар одно и то же — это гибель, конец. Если столкнет шайтан человека с судом, не вернуться уж несчастному ни к своей земле, ни к дому, ни к детям. Шир-шар закует его в железо, и никогда человек больше не увидит ни жены своей, ни матери.

Поэтому, когда приходит в дом волостной писарь, не надо спорить с ним. Пусть берет какие хочет поборы, хотя и несправедливы они, пусть забреет лоб сыну, хотя и не пришла для него очередь, пусть уведет лошадь, пусть даже посадит тебя самого на цепь и прикажет высечь, только бы не произнес страшного слова шир-шар, суд, не схватил бы, не повел бы тебя туда.

Работать в поле Никите нравилось.

Покрикивая на пару лошадей, которых деревенские поочередно уступали бачке-дьячку, шел за плугом, всей мальчишеской грудью вдыхая острый терпкий запах вспаханной земли. Радостно чуял, как пахла степь, различал то сладковатый чебрец, то горькую полынь, то легкую свежесть ромашки.

На своих полосках деревенские готовились к севу. Под вечер собирались, проверяли приметы. Последнего слова ждали от старого Нягося. Знали, если скажет: «Сеять пора», — не будет лучшего времени.

Вспоминали, как однажды приезжал исправник, гневался, почему не засеяли озими, ругал стариков за то, что не велят начинать сев. Кричал: «Добра себе не желаете, погубить хлеб хотите!» А старики одно: по солнцу, мол, пришло время сеять, да другая есть примета, подождать надо. Так и не позволили они деревенским до зерна дотронуться, бросить его в землю, пока сами день не назначили.

Да, многое было открыто старикам, а в особенности Нягосю. Как не верить его словам? Ведь если спросишь, будет ли завтра погожий день, предскажет, никогда не ошибется. Достаточно было Нягосю взглянуть на небо, на ближний лес, втянуть получше носом воздух, и если промолвит, что завтра будет ясно, не закроют облака солнца, так тому и быть, хотя бы сегодня все небо в тучах и сеет дождь. Да, многое открыто старому Нягосю!..

На поле Никита встретил приятеля — Кирика, Кирилла, сына многодетного Михайлы. Он тоже на поле прибежал подсоблять отцу и братьям. Сперва только издали переглядывались: не изменился ли в чем товарищ. Как-никак обет ведь давали, что навечно побратимами останутся. Самой страшной клятвой обещание скрепили.

Перед тем как Никите в Казань уезжать, ночью на кладбище пробрались к могиле Кирикиного деда. Через могилу руки друг другу протянули и, стоя так, три раза повторили: «Пусть тень деда, что здесь покоится, и тени всех предков его покарают меня злой карой, ежели названному брату моему изменю когда-нибудь».

Казалось, на всех могилах тогда вздохнули покойники, а когда домой, боясь оглянуться, бежали, долго слышали за собой шопот мертвецов: «Помните, помните: мы все видим».

Как настоящие побратимы, обменялись драгоценными дарами, лучшим, что у каждого было. Прощаясь с другом, Кирик отдал ему булатный кинжальчик, который дед Кирика, умирая, завещал младшему, любимому внуку. А Никита отнес Кирику крошечного щеночка-куничку. Знаменитый в округе

охотник Кизюшка подарил этого зверька сыну бачки-дьячка, когда в церкви крестили Кизюшкиного первенца.

О куничке и заговорили, усевшись полдничать.

— Придешь на куницу поглядеть? — подсаживаясь к другу, спросил Кирик. — Дикая стала, только меня знает, других куснуть норовит. Мать сердится. Велит убить: за шкурку, говорит, гривну возьмешь. А я убивать не хочу, жалко...

Никита вспомнил крошечного зверька с нежной, тонкой рыжеватой шерстью. Он весь умещался на ладони, и слышно было, как часто-часто колотится у него сердчишко. Конечно, убить такого жалко...

Кирик наклонился и зашептал:

— Тебя ждал, на волю пустить хочу. Позволишь? Твой ведь подарок...

Все остался таким же названый его брат: светлоглазый, не по летам высокий, сильный Кирик. Подберет упавшего из гнезда птенца, выходит и отпустит в небо, чтоб летел к своим. Сколько раз сердился Михайла, грозил сыну, когда тот, пробравшись к силкам, выпускал попавшую в них добычу. Не одна дикая козочка, бегая по лесу, благодарит, верно, Кирика за свободу, что ей вернул.

На троицу, когда никто из деревенских на поле не вышел, Никита с Кириком, спрятав куничку в лукошко, отправились к дальнему лесу. Там охотники, случалось, и соболей добывали.

С Кириком страшно не было. В лесу он свой, звериными лазейками вел. Шли, веточки не задевая, только паутинку разрывали, которая, как серебряным пологом, между деревьями сверкала. Если хрустнет вдали ветка, зашумит листва, Кирик, приложив палец ко рту, застывал на месте. Никита уж знал: надо молчать — лесной хозяин, косолапый, пробирается, медовые запасы свои проверяет, а может, медведица со своим выводком забавляется.

— Стой, — толкнул друга Кирик, — здесь пускать будем. Видал? — он показал рукой на две дальние, сплетенные корнями, сосны. — Куница там большая проскользнула, в зубах бельчонка несла, своим детенышам обед добыла. Гнездо ее здесь где-то близко... Пусть рыжих сестер своих встретит...

Подивился Никита зоркости друга, который в мелькнувшей за столько шагов тени все разгадал.

Развязали лукошко. Куничка лежала съежившись, устав, видно, биться. Во влажных золотистых ее глазах Никите почудилось столько невыносимой тоски и одновременно бессильной яростной злобы, что он не выдержал, подтолкнул Кирика:

— Скорей развязывай, пусти ее...

Кирик встряхнул лукошко. Куничка мягко прыгнула на землю, замерла, пораженная, ошеломленная светом, воздухом, запахами, налетевшими отовсюду. Подняла мордочку и, точно боясь глядеть на мир, что представился ей, опять пригнулась к земле.

Никите хотелось подтолкнуть зверька, но Кирик удержал товарища за руку:

— Не тронь, сама уйдет...

И тут же куничка, как будто кем-то подброшенная, взвилась в воздух и заскользила высоко по стволу сосны. Еще раз мелькнуло рыжее тельце и скрылось.

— Счастливая... — вздохнул Никита, силясь представить, что же теперь чувствует зверек, попав после неволи в родной лес. Хорошо ли ему, радуется ли он свободе? Будет теперь жить, бегать, играть на приволье. А вот его, Никиту, снова ждет плен. Быстро, как вода в ручейке, мчатся дни. Скоро пройдут они, и опять неволя. Снова будет подстерегать в семинарских коридорах враг и мучитель, чтобы из-за угла выместить пинками и ударами незатихающую злобу за пережитое унижение. Опять вместе с толпой учеников придется укладываться в душной, тесной спальне, где старшие устраивают попойки, играют в карты, ссорятся, бранятся, пока проснувшийся служитель не наведет порядка кулаками и палкой.

А днем церковные службы, молитвы и классы, где с пристрастием допрашивают, без причины грозятся и, злобствуя, бьют и наказывают. Хотел бы он не возвращаться туда никогда! Навсегда остаться здесь, бродить с охотниками в лесу, трудиться в поле, засыпать на саганэ и, просыпаясь, не знать ненавистного расписания семинарского дня.

Удивился Кирик, когда услышал, что нет в Казани леса.

— Я бы убежал, — сказал Кирик. — Как же можно без леса?..

И он, Никита, убежал бы. Но там, в семинарии, книги. Откроешь их, и все темное, злое уходит. С тобой герои, ты завоевываешь с ними города, ведешь войска, переплываешь море. Книги приходилось выпрашивать у служки, приставленного к дверям семинарской библиотеки. Сколько собрано там удивительных историй о славных полководцах, о победах македонского царя Александра, о храбром Энее, о жизни Юлия Агриколы, о мучениках, святых!..

Служка иногда позволял подходить к полкам. Книг на них видимо-невидимо. На переплетах имена: Корнелий Непотис, Ливий Андроник, Сенека, Туллий Цицерон. Прочесть бы все это, перелистать хотя бы!.. А служка тут же и прогонял:

— Иди, иди, заметят случаем. Пожалуй, не сдобровать из-за тебя. Не велено ученикам здесь копаться.

Однажды все-таки удалось ему раскрыть тяжелый том. Ни служка, ни мальчик не заметили, как распахнулись двери библиотеки и показалась в них темная фигура. Осыпанный сверкающими камнями, золотой крест заиграл зайчиками в стеклах оконных переплетов. Служка обернулся и упал на колени.

— Ваше преосвященство, благословите и помилуйте...

Вошедший молча, не замечая служки, прошел вглубь комнаты. Сгибаясь, пригнув голову, следовали за ним ректор со своим помощником.

В предчувствии неминуемой беды, но не опуская глаз, Никита прижался к выступу массивной дубовой полки.

— Кто ты, отрок, зачем ты здесь?

Голос был вовсе не грозный, скорее в нем звучало доброжелательство.

Помощник ректора, он читал у младших риторику, выступил вперед и, не осмеливаясь заглянуть в глаза под низко надвинутым клобуком, поспешно произнес:

— Осмелюсь доложить вашему преосвященству, отрок сей слушатель третьего класса. Как не имеющий фамилии и звания наречен в семинарии Бичуриным, по родному селу...

— Что же молчишь, мальчик? Неужто имя свое забыл?

— Никита я...

— Добавь, скорей добавь «ваше преосвященство» и проси благословения... — зашептал в ухо Никите помощник ректора. Но преосвященный отстранил его прикосновением вытянутого вперед указательного пальца с толстым серебряным перстнем.

— Что же привело тебя, Никита, в наше хранилище? Праздное любопытство или книги влекут тебя? Читаешь ли ты?

— Читаю... — осекся и добавил: — ваше преосвященство...

— Похвально... Покажи, как преуспеваешь. Послушаем тебя.

И тогда-то в руках Никиты очутилась книга, к которой ему давно хотелось прикоснуться. Сам архиепископ отец Амвросий Подобедов достал ее с полки.

— Читай...

Гулко отдаваясь в сводах хранилища, зазвучал, чуть срываясь, мальчишеский голос.

Глаза из-под черного клобука глядели зорко, а когда, переводя дыхание, Никита замолк, он почувствовал, что его лба мягко коснулась пахнущая ладаном рука.

— Хорошо, сын мой! Видим в тебе усердие к чтению. Объясни нам теперь, что означают слова сего мудрого римлянина.

Этот отрывок из главы хроники Корнелия Непота Никита знал по учебнику богословия. Он всегда ждал, когда старшие оставят на столе истрепанную книгу, и мог повторить ее страницы и по-латыни и по-русски.

— Так, так, сын мой, когда успел уразуметь сие?

— Не по летам смышлен, — шепнул помощник ректора, — давно нами отмечен...

— Да будет с тобой благословение божие! — Большая белая рука размашисто очертила невидимый крест над головой Никиты.

— К руке приложись, к руке, — толкнул мальчика помощник ректора.

Но рука, не дожидаясь поцелуя, приподняла голову мальчика за худенький, острый подбородок. Пытливые глаза на секунду скрестились с ясным детским взором. И впервые за многие дни Никита прочитал в обращенных к нему глазах взрослого человека ласку, жалость, участие. Как будто ветер родного Шинери пронесся по сумрачному, душному залу. Теплая сладкая волна залила маленькое сердце. Нет, оно еще не успело ожесточиться. Неловко дернувшись, Никита схватил повисшую в воздухе руку и прижался к ней лбом.

Человек со сверкающим крестом на груди сидел неподвижно, только на одно мгновение его веки устало опустились и плотнее сжались бесцветные губы.

Выпрямившись, преосвященный положил обе руки на голову мальчика:

— Иди с миром, сын мой, мы о тебе не забудем.

С тех пор служка уже не гнал Никиту из библиотеки, а ее главный хранитель отец Симеон разрешил выдавать мальчику книги, какие он попросит.

...К ним, к книгам, он и вернется.

А куничка все-таки счастливая, на воле она, ничего ей не надо, кроме свободы.

Обратно шли, ягод в лукошко набрали. Жаль, орехи не поспели, только поддразнивали зелеными гроздьями.

Когда первый обмолоченный хлеб свезли в сусеки амбаров, дьячок Иаков вместе со всеми сельчанами возблагодарил бога за ниспосланный урожай. Никиту снарядили в обратный путь.

Тот же старенький кафтанчик, чисто выстиранный, со свежими заплатками, накинул мальчик на плечи. На ногах новенькие лапоточки, подаренные мачкой Куль, за спиной мешок, набитый домашней снедью. В последний раз перекрестился на образа и обнял родную.

— Никитушка... — Прильнула к плечу сына и застыла.

— Пора, мать, пора... В Чебоксары до полдня прийти надо. Как бы не ушел обоз-то...

Еще с лета умолил дьячок чебоксарского купца, что в Шинери хмель закупал, прихватить сына с обозом, когда в Казань с товаром поедет. До Чебоксар проводил чадо. Там и Саню встретили. Купец согласился обоих дружков до места доставить. Товар стеречь дорогой наказал и в Казани вместе с ямщиками кладь сгрузить.

Долго стоял бичуринский дьячок, провожая глазами медленно тянувшийся обоз. Пеленой застлало взгляд, почувствовал — не на сладкое житье обрек сына, чуял тернии, что исколют сердце сына. Беззвучно, тоскливо шептал:

— К тебе взываю, господи! Услышь, заступись за малого! Не отвратись, возвеличь его знанием!..

Глава третья

С давних времен вошло у казанцев в обычай отмечать минувшее по пожарам, которыми издревле прославился их город.

Так и говорили:

— Лоб-то Ване забрили — еще слобода татарская не выгорала...

— Дрябловских суконщиков навечно воли лишили враз после того, как у кремлевских стен пять приходов с гостиным двором огнем истребило...

Дерзко разгуливал красный петух по Казани; ни крест православной истинной веры, ни луна магометанская его не страшили.

Не успели отойти в кафедральном соборе Петра и Павла благодарственные молебны об утверждении на российском престоле законной наследницы, Елизаветы Петровны, как жаркой августовской ночью пламя охватило собор. До утра пылал он, как свечка, зажженная во славу всевышнего.

Только мало, видно, показалось господу богу одной свечи. Налетел степной знойный ветер на город, и загорелись, запылали храмы божьих угодников: Иоанна Златоуста, преподобных Иоакима и Анны, святой Евдокии, Николая Тульского, Алексея — божия человека. Горели храмы Воздвиженья, Покрова, святой Пятницы, Светлого Воскресенья. В кучи пепла превращались дома посадских, черные избы казанской голытьбы. Не успевали выскакивать люди из них, задыхались, гибли старые и малые.

Едва-едва вывели из палат архиерея казанского Луку Канашевича. Без облачения, в одном подряснике, с непокрыты-

ми косицами желторыжих волос замер, застыл преосвященный. Пылали и рушились храмы, в прах превращались сокровища, собранные для прославления имени божьего.

Не помнил владыка, как подхватили его служки. Влекомый подалее от гари и смрада, заковылял, хромая более обычного.

— За что наказуешь, господи? — лепетал помертвелыми губами.

Не он ли, Лука, привел к истинной вере неслыханное множество инородцев: татар, черемисов, мордву, чувашей? Не сосчитать, сколько погрязших в язычестве нечестивцев обратил он в лоно святой церкви! Кто, кроме всевышнего, может оценить величие содеянного казанским владыкой?

Не было предела рвению преподобного Луки в святой его миссии. Темные, слепые нечестивцы не шли добровольно к свету истинного вероучения, отвращались, бежали пастырей. Не прельщали их обещания вечной радости в царствии небесном. Но тех, кто не хотел добром принимать святого крещения, велел владыка крестить силой: так о спасении их душ заботился.

Думал он о новообращенных неусыпно. Чтобы не спускать с них ока господня, решил Лука возвести на землях инородцев православные храмы и воспитать для службы в них стойких в вере священнослужителей.

Как любимое детище пестовал Лука Казанскую духовную семинарию, которую застал в упадке, запустении. До него мало заботились в Казани о рассаднике христианского просвещения. А ведь сам император Петр Первый повелел открыть в казанской митрополии «архиерейскую школу» для обучения поповских и дьяконовских детей.

Школу вскоре переименовали в славяно-латинскую, а потом приказали называть духовной семинарией, разделили на классы — фары, инфимы, грамматики, синтаксиса, пиитики, риторики, обучали в них букварю, псалтырю, чтению и письму по-гречески и по-латыни, переводам с древних языков, посвящали в учение о церковных таинствах, приучали к искусству слагать вирши, трактовать о расположении мыслей и о выражении их, сообщали также правила, как сочинять проповеди, речи, послания.

Ничего не жалел Лука для семинарии, приказал богато обновить здание, украшал иконами часовню и классы, наполнил хранилища книгами апостольских деяний, сочинениями отцов и мужей церкви, следил, чтоб не терпели семинаристы недостатка в учебниках, старался, чтоб не бедствовали от скудости питания, не страдали бы телесными недугами,

от которых сошло в могилу немало из согнанных в семинарию разутых, раздетых, голодных ребятишек.

И вот — одни руины остались от обители будущих духовников. До утра не сомкнул владыка глаз. Укрывшись в келье окраинного монастыря, не отводил взора от пляшущих в узком оконце отсветов пламени. Нет, не от бога это испытание, не допустил бы он такого посрамления. От лукавого этот огонь! По его наущению подожгли нечестивые служители ислама святые храмы и торжествуют, радуются теперь в греховной своей мерзости.

Так писал преосвященный в слезном письме к новой императрице, именем господа бога требуя безжалостно наказать неверных, посмевших предать огню обители.

Шли дни.

Малиновый звон уцелевших от пожара колоколов казанских храмов не мог заглушить криков и стонов жителей татарской слободы. Люди рвали на себе одежды, падали на колени, закрывали глаза, чтобы не видеть неслыханного надругательства над мечетями, в которые с топорами и ломами врывались отряды солдат, изгоняя молящихся.

И хотя ротные офицеры разъясняли, что мечети ломаются по указу императрицы, не верили этому правоверные. Поднимая к небу кулаки, выкрикивали в бессильной ненависти:

— Это он, хромой черноризец... Лука!.. Да будет проклято имя его!

Да, он мог теперь торжествовать, хромой черноризец, владыка казанской епархии, преподобный Лука! Рушатся, падают мечети, и ничего не могут поделать, не могут защитить свои святыни обиженные, жестоко оскорбленные магометане. В ужасе взирают они на летящие камни, на обломки минаретов, с которых еще только вчера призывал муэдзин к вечерней молитве.

Разрушили мечети, сломали минареты в Казани, сравняли с землей по всем татарским селеньям казанского края, но не усмирили красного петуха. Все так же беспощадно налетал он на город, веселым пламенем полыхал над узкими, кривыми улицами, над болотами и холмами, застроенными глиняными и деревянными домишками.

Но однажды на рассвете летнего дня запылала, загорелась Казань по-особенному. Взвилось, закрутилось над ней пламя, отсветы которого не потухали, не рассеивались долгое время.

Горел казанский кремль, пылали дворцы казанских правителей, набитые добром дома именитого купечества, вспы-

хивали от летящих искр жилища дворовых, цеховых ремесленников, занялись огнем Суконная, Ягодная, Старая и Новая татарские слободы. Но не плакали, не голосили казанские бедняки, бросая горящие домишки. Весь подневольный люд Казани — русские, татары, башкиры — сбирался по единому зову. Сверкали глаза у мужчин и женщин, и на разных языках летело одно слово: «воля». Все равно, царь он или не царь, тот, кто крикнул это слово — «воля», тот, кто обещал ее народу. Пускай зовут его самозванцем, бунтовщиком, клянут в церквах — со всех сторон бежали к нему люди. Не стреляли, не пугали народ покидавшие крепость солдаты. В напудренных, сбитых набок париках, крепко сжимая ружья, торопились к тому, кто звал драться за правду, отомстить притеснителям.

...Казнили Емельяна Пугачева. Притихла Казань. Только мечта о воле осталась у людей. А жаловаться, что отняли волю, могли только богу. По приказу Екатерины еще пышней и богаче строили в городе храмы всех угодников. Рядом с Воскресенской церковью отвели новое здание для духовной семинарии. Под надзором ректоров, префектов и фискалов продолжали растить в ней будущих пастырей, заставляя их по церковному благовесту и семинарскому колокольчику, как солдат по барабанному бою, приниматься за дело, какое на «час уреченный» назначено.

Шли годы. Уж восемнадцатый век был на исходе, но в семинарии ничто не менялось. Маленькие, голодные, замученные молитвами и зубрежкой грамматики становились риторами, удалыми богословами. Потом женились, надевали священническое облачение, получали приходы и в церквах поучали обращенных язычников, чтоб не в юдоли земной, а на небе, в царствии божием, искали счастья и вечного блаженства.

До класса богословов дошли дружки Бичурин и Карсунский. Вытянулись, ладные парни стали оба, у Сани усы уж давно пробились. Почтительно приветствуют их теперь грамматики, ищут защиты, потому что знают: никогда не обидят маленьких ни брат Никита, ни брат Александр.

Но не все в Казанской семинарии считают, что богослов Бичурин заслуживает поощрения.

— А ты, Бичурин, опять неположенным делом в час молитвы занят! Почему не в церкви, где братья твои коленопреклоненно вознеслись душой к всевышнему? Грех сейчас над книгой склоняться. Оставь ее, ступай молиться. А за нарушение распорядка будешь без воскресного отпуска.

Как ненавидит Никита этот елейный, отвратительно-сладкий голос! Так же приторно-сладко цедит преподаватель риторики Булгаков слова, когда назначает удары лозой и, лениво жмурясь, отсчитывает их. Свои фискальные обязанности он выполняет охотно. Выследил все-таки! Никита живо представил, как Булгаков, войдя в церковь, делая вид, что кладет земные поклоны, впивается, сверлит глазами спины семинаристов. Только не молитвы шепчут его губы: перечисляют, все ли на месте. Вот он добрался взглядом до старших, до богословов. Ага!.. Очень хорошо!.. Фискал крестится и, склонив голову, медленно пятится назад. Очутившись в притворе, он быстро поворачивается к выходу и кидается разыскивать Никиту. Вот он осмотрел классы, коридоры и, наконец, в спальне обнаружил. Конечно, подкрадывался на цыпочках, сощурившись и, как всегда, поджимая губы.

Без воскресного отпуска... Булгаков с большим удовольствием выдрал бы его или отправил в карцер. Но высечь лучшего ученика, старосту класса, богослова не так-то просто. А в карцер? Об этом может узнать преосвященный, отец Амвросий. Ни для кого не тайна, что владыка благоволит к семинаристу Бичурину. Никита поднимает глаза и встречает бегающий взор фискала. Ничего, кроме злобной трусости... Злобен и труслив.

Да, у Булгакова есть основание злобиться на Никиту. Недавно малыши, по издавна заведенному в семинарии обычаю, на последнем уроке перед каникулами подняли громогласный крик, хором и поодиночке: «Рооспууск!..», «Роооспуууск!..» Но вольности эти преследовались начальством, и тут-то и появился Булгаков.

Нельзя было ни убежать, ни спрятаться, ни отречься.

— Так... Сюда их!.. — потребовал Булгаков.

Вперед вышли двое дневальных. У Булгакова всегда секли в две лозы. Он не сразу назвал свои жертвы. Он оглядывал помертвевших, трясущихся от страха мальчиков, как будто выискивая зачинщиков. Но обычно секли лишь тех, кто не вручил ему подарков, присланных из дому. Фискал не брезгал ничем: ни куском солонины, ни десятком яиц, ни испеченной дома лепешкой, ни грошами, которые, не смея истратить на себя, несли ему запуганные мальчуганы.

Крики наказываемых слышны были на улице. Потерявшего сознание ученика Иванцева отнесли в семинарскую больницу. Тогда, пользуясь суматохой, несколько мальчиков выскочили в окно. Ушиблись, конечно, но бросились разыскивать Никиту Бичурина.

— Брат Никита, помоги, — убьет нас Булгаков, Иванцева уже засек до смерти!..

Никита кинулся сначала в больницу. Неужели этого маленького белобрысого мальчонку, который по ночам плакал и звал во сне мамку, доконали совсем? Мальчик лежал на больничной койке, закатив глаза.

— Ва-ань, Ваня! — наклонившись к мальчику, позвал Никита. — Ты слышишь меня? Это я, брат Никита...

— Не зовите... В беспамятстве он. Уж мы его водой отливали, не помогает, — сказал фельдшер.

— Будет ли жив? Поправится ли?

— А это сказать не можем, как натура покажет...

Итти в класс и требовать, чтобы Булгаков прекратил истязания, было бесполезно. Увещания только бы разожгли его злобу. Не ожидая удачи, Никита побрел в келью ректора. Все знали, что Булгаков его любимец, да и сам ректор почитал лозу полезной в воспитании паствы. И все-таки богослов решительно дернул резную дверь.

— Зачем пожаловал? — уставясь на вошедшего выпуклыми сонными глазами, спросил толстый, туго обтянутый рясой отец ректор. — Опять ходатаем? Не больно ли смел становишься?.. Не думаешь ли, что пастырям и начальникам ровней стал?

Выслушал Никиту, зевнул.

— Секут, значит заслужили... А мальчишка притворяется.

Никита отвел глаза от дряблого, с расплывшимися, жирными щеками лица и повернулся к двери. Он пойдет к преосвященному. Только владыка сможет усмирить этих бессмысленно-жестоких, тупых людей. Скорее в архиерейский дом.

— Преосвященный в саду, — сказал высокий пожилой служитель. — Посетителей принимать будем после обедни. А тебе вход никогда не заказан.

В синей холстинковой рясе, в простом монашьем клобуке архиерей сидел в глубине сада на низенькой скамейке у большой клумбы и внимательно разглядывал кривые, узловатые черенки, которые подавал молодой послушник. Никита приблизился, с трудом перевел дыханье.

Преосвященный обернулся, и сразу улыбка тронула сухие губы.

— А, Никита! Подходи, подходи... На экзаменах порадовал нас.

Никита хотел поцеловать руку преосвященного, но Амвросий отмахнулся.

— Не надо, не надо! Опускайся прямо на землицу, вот тут у нас и коврик постелен.

После того, что видел Никита в больнице, где на железной койке бредил и задыхался Ваня Иванцев, этот недавно

зазеленевший садик казался кусочком райской обители, а приветливо улыбающийся преосвященный — ее добрым стражем и хранителем.

Никите стало легко. Усевшись у ног преосвященного, рассказал о расправе, учиненной Булгаковым, о несчастном Иванцеве, о мальчиках, которых все еще продолжают истязать.

Амвросий не прерывал. Когда юноша замолк, архиерей обменялся со стариком служителем понимающим взглядом.

— Поедешь в семинарию, — сказал старику Амвросий. — Передашь отцу ректору: пусть вместе с Булгаковым сейчас же явится ко мне.

Открыто ни ректор, ни Булгаков не мстили. Но мелкими, гадкими уколами, злобными придирками оделяли Никиту с избытком. Вот и сейчас: без воскресного отпуска! Впрочем, хорошо еще, что Булгаков, торжествуя победу, не сразу взглянул на книгу, из-за которой Никита не пошел в церковь. Успел отодвинуть ее, перед ним лежал только толстый латинский учебник.

— Об ослушании, о греховном пренебрежении молитвой доложу отцу ректору. А сейчас торопись наверстать отнятое у бога... Ступай в церковь. Моли всевышнего о прощении.

Никита, молча слушавший Булгакова, вдруг почувствовал, как знакомая темная пелена яростного гнева заволокла, затуманила сознание. Помимо воли сжался кулак. Медленно, точно выдавливая пудовую тяжесть, поднял руку. Он не знал, хотел ли он ударить ханжу, этого подлого лицемера. Просто больше не мог видеть поджатого рта, цедящего слова.

А Булгаков уже трусливо отскочил, завизжал лающим, пронзительным голосом:

— Как смеешь, разбойник, тать, нечестивец! На кого кулак поднимаешь? С юности греховной гордыней обуян! Погоди, усмирят тебя!

Куда побежал Булгаков, кому жаловался, Никита не узнал. Однако к наложенной каре ничего не прибавилось. Воскресенье проторчал в семинарии. Саня хотел было разделить с другом наказание, но Никита не допустил.

Как стало у друзей в обычае, Саня принарядился, надел новый сюртучок, даже волосы припомадил. Сокрушался уходя:

— Как же без тебя обойдемся! Репетировать не сможем. Кто Левушку по-латыни проверит? Кроме тебя, никого не признает... Гад этот Булгаков, злобная ищейка. Одна забота ему — подглядывать и выслеживать.

Никита только поморщился:

— Иди, иди, репетицию без меня проведете. Роль, скажи, я выучил. Смотри только, про книги не забудь. Сумарокова первый том отдашь, второй оставляю, Вольтерова «Кандида» тоже, перечитать хочу. Напомни Лаврентию Ивановичу: обещал, как только новые книги из Москвы прибудут, сейчас же показать.

Саня ушел, обещав ничего не забыть.

Бежит, верно, сейчас, торопится. Подошел уж, пожалуй, к небольшому, выложенному из кирпича домику с двумя лепными колоннами перед мезонином. Пробежит палисадничек, перескочит через три ступеньки каменного крылечка, и распахнется перед ним темная дубовая дверь, за которой скрывается совсем особенная, удивительная жизнь, что так неожиданно открылась дружкам.

...Как-то в воскресенье, в прошлом году, вызвали Александра Карсунского в семинарскую приемную, где ожидал незнакомый человек. Объявил, что он от господ Саблуковых, что в собственном доме у Арского поля проживают. К господам Саблуковым родственница из Чебоксар в гости пожаловала — матушка Троереченская. Гостинцы от родителей привезла семинаристу Карсунскому, поклон и лично на словах обсказать кое-что хочет. Поэтому велено доставить его в дом к господам Саблуковым.

Троереченских, и батюшку и матушку, Саня помнил с детства. Люди хорошие. Псаломщика, Санина отца, заботами не оставляли, не гнушались знакомство водить. В каникулы Саня не раз гостил у отца Троереченского и матушкину ласку сызмальства помнил.

А вот насчет господ Саблуковых сомневался. Побежал раньше к Никите, рассказал о приглашении. Как туда явиться, засмеют еще кутейника! Семинаристов за порядочных людей разве считают? Да ведь и правда: ни ступить, ни говорить в обществе не обучены. Нет, не пойдет он, засрамят его там.

— Иди, не робей, — подбадривал Никита, но в душе и сам ощущал робость за друга. В самом деле, не привыкли к людям, да и кого они видели? Таких, чтоб за равных их считали, здесь, в Казани, совсем нет.

...Никита в ожидании сел перечитывать жизнеописание Катона-старшего, любимого из героев. Читал, посматривал в окно. А Саня все не шел. Без друга и на улицу выходить не хотелось. Там, верно, уж началось сражение с соседями-кантонистами. В разгаре рукопашная — любимое развлечение и младших и старших учеников. Скучно это, однако. Что же так Саня задерживается? Глянул в книгу, увлекся и не

заметил, как подошел вечер. Сани еще нет. Чуть не к ночи явился.

Долго, допоздна говорил, рассказывал о доме Саблуковых. Никогда таких не встречал раньше: не посмеялись, не унизили безвестного семинариста, а слушали и говорили, будто он свой, близкий им.

— Интересовались, какие науки проходим. Удивились, когда сказал, что всех римских авторов в подлиннике читаем. Сам господин Саблуков, Лаврентий Иванович, в беседу вступил... Библиотека в доме знатная: и русские, и латинские, и французские авторы... Решился и о тебе обмолвиться. Велели с тобой вместе в следующее воскресенье обязательно прийти. Когда уходил, повторил Лаврентий Иванович: «Ждем вас вместе с другом».

Вот как случилось, что и он, Никита, попал в саблуковский дом. В самом воздухе там чудилось что-то особенное. Еще только подходили к Арскому полю, где в начале вившейся по ложбине улички стоял дом с двумя колоннами, как уже казалось Никите — дышится вольнее, легче. Радостным были для дружков часы пребывания в небогатых, скромных комнатах этого дома, где сами вещи глядели так же доброжелательно, как и их хозяева.

Было притягательно необыденное в том, чем жили, чем интересовались в этих комнатах и чем щедро делились с гостями.

Хозяева там умели задушевно говорить с людьми. И глава семьи Лаврентий Иванович, быстрый и подвижной, несмотря на годы, и хозяйка дома Марья Ильинишна, румяная и моложавая, и обе саблуковские барышни — старшая Анна и четырнадцатилетняя Татьяна, Тата, как звалась она в доме, и младший, десятилетний Левушка.

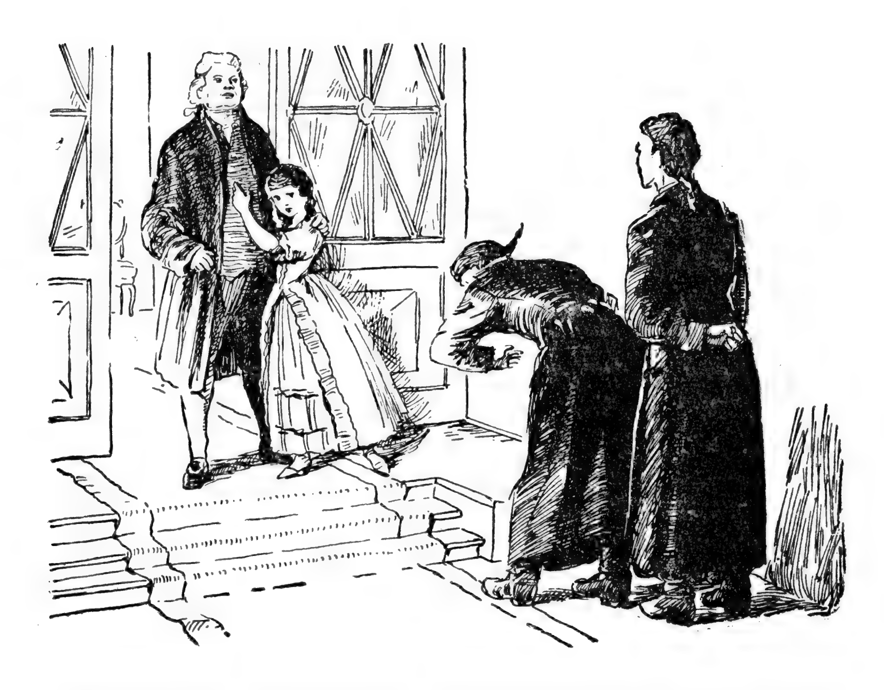
Когда, следуя за Саней, вошел он первый раз в полутемную прихожую Саблуковых, мелькнули перед дружками две темные косы, голубое платьице и тоненькая барышня, совсем девочка, смело протянула гостям руку.

— Здравствуйте, хорошо, что вы пришли... Нам как раз для представления двух стариков не хватает. Мы сразу о вас подумали... А сестрица Анна сказала: вы не придете и никакого друга не приведете. А я знала, что придете, знала!..

— Почему же ты это знала, милая моя Кассандра? — пророкотал за дверью густой, звучный бас.

Темные коски той, которую назвали Кассандрой, метнулись вперед.

— Папа, это Александр Иванович пришел!.. Вот удача: сможем репетировать, на обе роли есть артисты! Но только



я не хочу быть Кассандрой: троянцы ей не верили и погибли, а мне все должны верить.

— Чтоб не погибнуть? Ты это хочешь сказать? А ты не боишься, что гости сочтут тебя самонадеянной пророчицей? И не пора ли пригласить их в комнаты, тем более, что все уже в столовой и готовятся отдать должное яблочному пирогу... Но я вижу, что эти подробности неизвестны нашей Кассандре.

— Нет, все известно... И вот доказательство. Когда мы войдем в столовую, Савва Андреевич будет требовать вторую порцию пирога.

Стараясь не отстать от темных кос, дружки едва не сбили гнутые кресла в зале, налетели на клавесин и, растерянные, остановились на пороге длинной комнаты, где на овальном столе клубился пар над самоваром. За столом сидели хозяйка дома, старшая дочь ее и двое молодых мужчин.

Голубое платьице задержалось у стула, с которого привстал высокий белокурый господин. Любезно улыбаясь, хозяйка протягивала ему тарелку с пирогом.

— Глядите, я угадала!.. Спасибо, спасибо, Савва Андреевич! — крикнула маленькая барышня, и голос ее сейчас был совсем детский, с заливчатым, неудержимым смехом.

— Таня, ну можно ли так?! Что подумают о тебе новые гости! — погрозила дочери Марья Ильинишна.

— Да и старые не могут привыкнуть к проказам Татьяны Лаврентьевны. Уверен, что за ее благодарностью скрывается нечто недоброе. Боюсь, боюсь!.. — чтобы изобразить испуг, белокурый господин поднял в воздух обе руки.

— Не слушайте ее, Савва Андреевич, кушайте пирог, коли он вам понравился.

— Да я за это и благодарю Савву Андреевича, маменька. Именно за то, что ему, как всегда, нравятся наши пироги.

— Ах вот в чем дело! И когда вы устанете смеяться над моим аппетитом? Но, право же, аппетит мне вовсе не заказан. Я ведь не поэт, а только переводчик... Это Гавриле Петровичу, певцу загробных миров и туманностей, не полагается восхищаться дарами Цереры. Да и он, глядите, не устоял перед чудом кулинарного искусства, которым потчует Марья Ильинишна.

Как хорошо, что Кассандра в голубом платьице отвлекла внимание общества от дружков! Отвесив поклон, они, не смея шевельнуться, стояли на пороге. Но на помощь им пришел Лаврентий Иванович. Словно не замечая смущения юношей, подвел к хозяйке, усадил обоих рядом с собой, потребовал чаю, о чем-то заговорил, ободряюще глянул на Никиту. Осмелев, тот поднял глаза и остановил их на белокуром господине, сидящем напротив. Переводчик... А кто же здесь поэт? И впрямь ли кто-то среди этих людей поэт? Шутил или говорил правду этот светловолосый человек с серыми насмешливыми глазами? Он указывал на молоденького, щеголевато одетого гостя с золотым дутым перстнем на мизинце узкой смуглой руки. Удивительно знакомое лицо! Да это же падший ангел с иконы, которой в покоях преосвященного Амвросия всегда любуется Никита. Ну да, тот же узкий вытянутый овал лица, тонкие, изогнутые брови, чуть крючковатый, с горбинкой, нос, высокий лоб...

Лаврентий Иванович дружески покосился на Саню, потом на Никиту и обратился к белокурому гостю:

— Не порадуете ли нас, Савва Андреевич, Торкватовой песней? Молодые наши богословы не откажутся, верно, услышать, как великий итальянец воспел галльских рыцарей.

— Нет, Лаврентий Иванович, сегодня не смею читать о Торкватовых героях. Меркнут их подвиги перед тем, что совершают ныне на галльской земле потомки неукротимого Готфрида Бульонского и храброго Ринальдо. Думаю, дошла до вас весть о казни Людовика Капета?

— Как же, слыхали, — отозвалась Марья Ильинишна. — Из Петербурга чиновник вчера сказывал Лаврентию Ивановичу.

— Бесславный тиран, и бесславна его смерть! — глухо, точно про себя, проронил тот, кого Савва Андреевич назвал поэтом. Обведенные темными кругами глаза молодого человека сверкнули, румянец залил коричнево-смуглые щеки.

Знали семинаристы, что во Франции сметена королевская власть, народ поднялся против угнетателей. Но говорить об этом громко никто в семинарии не смел, только с алтаря возглашали анафему бунтовщикам, мятежникам, поднявшим меч против земных владык. А здесь говорят об этом открыто, не таясь.

— Устрашающий пример для венценосцев, — продолжал разговор Лаврентий Иванович. — Кто нынче может верить в незыблемость тронов? Не кажется ли вам, Савва Андреевич, что то, о чем возвещал Вольтер, воплощается в действительность?

— Не хочу преуменьшать заслуг великого фарнезца, но и в собственном отечестве услышали мы голос, предостерегающий земных владык. Вспомните слова Радищева: «О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши...» Только, увы, заглушен голос отечественного провидца, а сам он закован...

Лишь позже, когда Никита стал постоянным гостем в доме Саблуковых, понял он, о ком говорили тогда за столом. Мир книг, оказалось, не замыкался семинарской библиотекой. Наклоняясь к дружкам, тогда же поведал Лаврентий Иванович, что Савва Андреевич Москотильников пишет для московских журналов и переводит итальянского поэта Торквато Тассо, а родственник Саблуковых, Гаврила Петрович Каменев, печатает стихи в петербургских и московских альманахах. И не без гордости добавил хозяин дома, что поэмы свои раньше читает здесь, и если дружки будут заходить почаще, то и они смогут услышать их. Да и не только произведения Саввы Андреевича и Гаврилы Петровича читаются вслух в этой гостиной. Здесь можно услышать сочинения и других отечественных авторов, которые должны глубоко почитаться всеми русскими людьми. Это последнее Лаврентий Иванович повторил и немедля задал семинаристам вопрос, не слыхали ли они о сочинителе Александре Николаевиче Радищеве.

Когда юноши отрицательно покачали головами, Лаврентий Иванович грустно произнес:

— Да, безвестно пока имя отечественного просветителя. Немало усилий к тому приложено... Но юношам, знающим наизусть римских авторов, полезно обратиться и к родным пиитам.

Хорошо, что скрыл тогда Никита от Булгакова книгу, принесенную от Саблуковых. Не раз они ее с Саней перечитывали. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», — стояло в книге под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву»...

Глава четвертая

Посольские возки подъезжали к Иркутску. Они были встречены пылью, мальчишками и облезлыми псами, надрывно лаявшими в подворотнях. Но посланнику при дворе богдыхана графу Головкину, лениво глянувшему в приспущенное оконце переднего возка, показался необычным вид иркутских задворков.

— Что это? — лениво обратился граф к чиновнику, посланному навстречу миссии. — Откуда это? Китайская хижина, замызганные китайчата...

Немолодой коллежский асессор, в узком парадном мундире, обернулся к графу.

— Совершенно верно, ваше сиятельство... Китай в Иркутске. Изволите видеть, фанза, по-нашему изба... А желтолицее потомство обязано появлением на свет — хе-хе-хе... так сказать, торговым сношениям с Поднебесной империей...

— А в самом Иркутске, — продолжал чиновник, — обратите внимание, ваше сиятельство, и не то увидеть изволите. В покоях вашего сиятельства, в доме купца Сибирякова, все комнаты в китайском духе отделаны. Еще дед Сибирякова в Китай с мягкой рухлядью, иначе пушниной, ездил. А внук и вовсе окитаился. Совершенно на китайский манер живет. Мебель в комнатах, обои, картины, куклы, вазы, фарфор — все китайское.

— И не только купцы, многие иркутские служивые не отстают от Сибирякова, — поспешил вмешаться чиновник помоложе. — К сожалению, в нашем богоспасаемом городе не благотворное влияние европейской цивилизации испытывать приходится, а варварские обычаи азиатчины.

Но последним замечанием чиновник вовсе не угодил российскому послу, направлявшемуся в Китай. Не удостоив прямым ответом, граф процедил, брезгливо отряхивая пыль с шелковых манжет:

— Твердим о цивилизации, не ведая того, что варварством Европа превзойдет, пожалуй, все ужасы азиатчины.

Про себя граф отметил, что выразился удачно. Следовало бы произнесть это в петербургских гостиных, где самыми модными остаются беседы о парижских событиях, все еще потрясающих Европу.

Сентенция была бы тем более кстати, что именно туда, в Европу, к парижскому «варвару» Бонапарту, гораздо охотнее возглавил бы граф посольство, нежели то, с которым путешествует сейчас.

Впрочем, жаловаться посол не может. Миссия к Сыну Неба снаряжена блестяще. В свите графа отпрыски лучших фамилий. Прикомандированы ученые, среди них европейская величина — адъюнкт азиатских языков в Санкт-Петербургской Академии наук, знаменитый ориенталист барон фон Клапрот, собирающийся осчастливить мир исследованиями о происхождении народностей Азии.

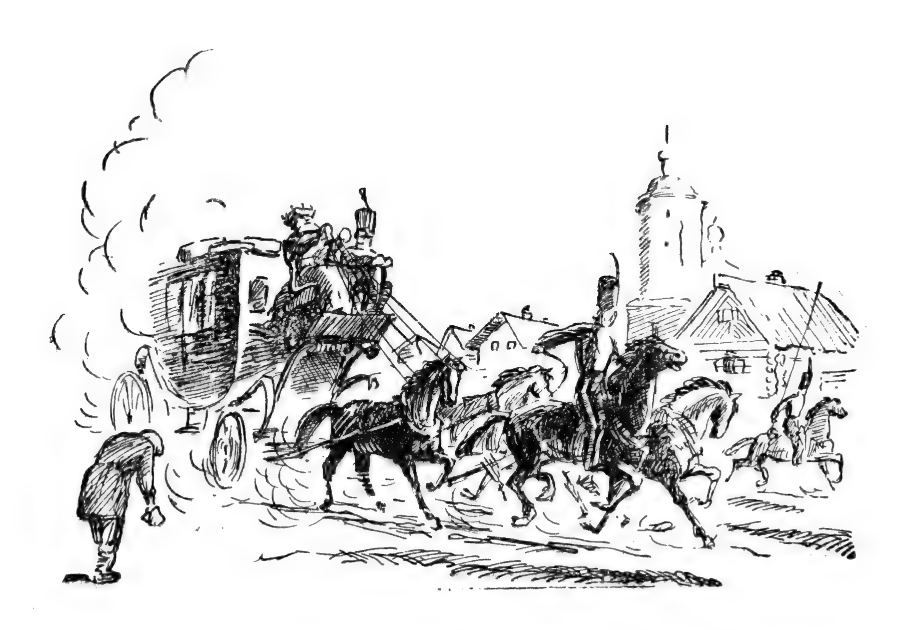
Но все это самое малое, чем может гордиться граф. Облечен он царским доверием — заключить, наконец, достойный России торговый договор с Китайской империей.

Милостиво беседуя с послом, усадив его рядом в кресле, царь доверительно объяснял, как необходимо настаивать на открытии для торговли всей китайской границы и получить, наконец, разрешение посылать караваны с товарами во все города Срединного государства.

Его величество, дружески коснувшись обшлага мундира посла, конфиденциально намекнул, что полезно бы собрать сведения о китайском судоходстве по Амуру. Впрочем, независимо от любых сведений, следует испросить в Пекине позволения пользоваться сим путем сообщения, а также согласия на устройство в устье Амура торговых складов и содержания при оных специального агента.

Уже в заключение аудиенции царь выразил надежду, что граф сумеет добиться у богдыхана согласия на пребывание в Пекине постоянной русской дипломатической миссии...

Графу Юрию Александровичу Головкину придется немало потрудиться. Он должен поддержать честь фамилии. Гордились Головкины, что первое в империи дипломатическое ведомство озарено блеском их имени. Еще граф Григорий Иванович Головкин, канцлер Петра, ведал учрежденной великим преобразователем Коллегией иностранных дел. О том, конечно, не упоминалось в семейных хрониках, что



фамильное состояние Головкиных при Григории Ивановиче особенно умножилось благодаря внушительным взносам иностранных держав. Представителям всех европейских тронов оказывал канцлер немаловажные услуги при заключении договоров. Но правда, более всего пекся Григорий Иванович о пользе отечества.

«И не в том ли и заключается хитрость дипломатической науки, чтобы, возвеличивая собственное государство, делать вид, что предаешь его...» — подытожил Юрий Александрович свои размышления.

Послу в Пекине, конечно, предстоит задача куда более трудная, чем прадеду Головкиных. Намного легче было вести переговоры на европейских конгрессах и получать аудиенции у светских государей Европы, нежели добиваться права взглянуть в глаза потомка маньчжурской династии богдыханов, считавших все прочие государства своими вассалами и данниками. В этом они пытаются убедить и народ. Посол припомнил случай, рассказанный ему перед отъездом. Дело касалось лорда Макартнея — посла Великобритании в Китае. Когда посол плыл на джонке по реке Пэйхо, мандарины подняли на мачте флаг. Начертанные на нем иероглифы сообщали, что на борту судна находится посланник к Сыну Неба, везущий дань от английского народа.

Посвящая графа в малоизвестные обычаи страны, к которой они приближались, барон Клапрот прочитал его сия-

тельству изречение из книги Мэн Цзы: «Не низменные побуждения торгашей должны двигать поступками земных владык, а любовь к ближним и справедливость по отношению к ним».

Однако, проглядывая акты о начале торговых и прочих сношений России со Срединной империей, граф Головкин несколько усомнился: этим ли изречением руководствовался богдыхан, в царствование которого двести пятьдесят лет тому назад двое казацких атаманов, Иван Петров и Бурнаш Ялычев, проникли за китайскую стену и, не боясь, что их, как чужеземцев, казнят, добрались до богдыханова дворца в Пекине? Атаманы выполняли приказ царя Ивана Васильевича. Повелел грозный царь казакам итти на восток, пересечь дальние земли, дойти до Китая и передать его владыке, что хочет русский государь жить с ним в дружбе, засылать гостей для торговли. Не только с западными соседями пытался договориться Иван Васильевич, но и с теми, на чьих границах восходило солнце.

Атаманов не допустили к повелителю Небесной империи.

— Сын Неба не принимает чужеземных послов без даров, — велели передать московскому царю богдыхановы вельможи.

В старых песнях пелось, что недобрым смехом рассмеялся Иван Васильевич, когда, вернувшись из беспримерного похода, атаманы донесли о постигшей их неудаче.

— Уж не данником ли своим считает меня царь китайский? Только немало ошибается. Погоди, даст бог, встретимся поближе... — и, подняв посох, царь так им стукнул, что атаманы поспешили отступить подальше, хотя донесение о виденном в Монголии и Китае выслушал царь весьма милостиво.

Проникали за китайскую стену после Ялычева и другие смельчаки из русских людей. В поданной первому Романову «Росписи Китайскому государству и Лабинскому и иным государствам жилым и кочевым и улусам и великой Оби и рекам и дорогам» доносил неустрашимый и ловкий казак Иван Петлин, что пробрался он с товарищами к богдыханову царству, «по рубежной стороне коего стена ведена кирпишная», и если итти по ней «на восток до моря», то и в четыре месяца не обойти ее.

Показывал Петлин и грамоту, что выдали ему китайцы: зазывали к себе русских купцов для торга и мены товарами.

Разведать покороче путь для торговых гостей в Китай посылал тогда же тобольский воевода казачьего атамана Василия Тюменца, ранее ходившего с товарищами гонцом от русских властей к монгольским князьям.

Двигались по следам Тюменца и Петлина новые и новые русские землепроходцы. В архивных грамотах перечислялись: Яков Тугаевский, Степан Неверов, Яков Старков, первый принесший известие о питье, прозываемом чаем. «Неведомо только, на чем настаивают это питье, — доносили русские путешественники, — листья ли то дерева, или трава какая». Но с похвалой отзывались землепроходцы о питье и «на вкус и на нюх зело приятном».

Давно смекали русские торговые гости — завидными товарами богат Китай, прочны ткани-китайки, богаты узоры на шелках и шалях, бесценна из неведомого сплава сделанная утварь, настолько тонкая, что кажется прозрачной. А время шло. Ермак Тимофеевич разгромил последние орды Кучума, и русской землей стала Сибирь. Два государства, вместе владевшие полмиром, встретились на Амуре.

Увидали амурские берега русских людей, которых далеко на восток и на север гнали с насиженных мест безудержная отвага и горькая доля. Немало из них доходило до Харамурена, что по-тунгусски значит Черная река, русскими прозванная Амуром. Доносил служивый человек Максим Перфирьев, что слышал он — запросто находят охотники на Черной реке серебряную руду. Двинулся к Амуру казачий отряд под командой Василия Пояркова. От начала до конца проехали поярковцы реку, которую китайцы звали Хэйлунцзян — река Черного дракона. Не испугались казаки страшной клички, гостеприимными показались им берега Амура, хранящие несметные богатства. Приставали к правому берегу, знакомились с тамошними людьми, маньчжурами и китайцами, менялись с ними оружием и товарами, но с маньчжурской охраной вступали в жаркие схватки. Не допускал богдыхан вторжения чужеземцев в древние свои владения, и оба берега Хэйлунцзяна считал неприкосновенной своей собственностью.

Но, дальше и дальше продвигаясь на восток, утверждалась Москва в восточном Приморье. За поярковцами прибыл казак Хабаров, основал на рубеже с Китаем город Албазин. Не сиделось на месте вольным албазинским поселенцам, случалось, в жестокие стычки вступали с богдыхановыми воинами, преследовавшими тех, кто, скрываясь от непомерных поборов, искал прибежища у русских.

Требуя вернуть перебежчиков, подступали к Албазину маньчжуры, грозили уничтожить русское поселение. Храбро отбивались албазинцы. Отходили и снова грозили крепости войска богдыхана. Слали казаки гонцов к государю Алексею Михайловичу, молили о помощи. Да и сибирские купцы били царю челом, просили договориться с мандаринами, чинив-

шими обиды и всяческие препятствия торговым караванам, направлявшимся в Китай.

В Москве в посольском приказе не раз болтали: пора войти в согласие с «бугдыханом-царем и посылки о дружбе с оными начати». Говорили немало, пока, наконец, собрали «посылку». Отправили послом искусного во многих делах, хотя и неграмотного, боярского сына Федора Байкова. Повез он за многими печатями царскую грамоту, в которой, обращаясь к Сыну Неба, писал российский государь: «Так как наше государство подошло к вашему, хотим от нынешнего времени быть с вами в пристойной крепкой дружбе и любви».

Добиваясь мира и дружбы с «бугдыханом-царем», повелено было Байкову всемерно радеть о пользе государева торга — позорче приглядеться к товарам в гостиных рядах Канбалыка — так назывался в Москве Пекин, — закупить по невелику того, что ценнее, проведать, кто из немцев и с какими товарами приезжает в Китай. Интересовались в Москве, делают ли сами китайцы камки, тафты и бархаты, или их к ним привозят.

Дали Байкову подробный наказ, чего не должно делать государеву послу, когда прибудет он в Канбалык. Запретили «не видав бугдыхана ходить к его ближним и отдать им царскую грамоту». Велели строго блюсти достоинство государево, а потому не бить поклонов во дворце богдыхана.

Почти полгода плывя вверх по Иртышу, переваливая через склоны Монгольского Алтая, на верблюдах передвигаясь по безводной пустыне Гоби, добирались посланцы России до пределов Китайской империи.

По дороге внимательно присматривались посольские люди к обычаям других народов и через толмачей расспрашивали о неведомой жизни и сами, не таясь, отвечали на расспросы.

Но в Пекине не пришлось Байкову и его людям оглядеться свободно. В донесении к царю посол записал:

«А город Канбалык велик ли или мал, про то подлинно неведомо, потому что со двора ходить русских людей не пускали, заперты были, что в тюрьме; а за что были заперты, про то невдомек».

Но запрет мандаринов не помешал Байкову подметить достопримечательности китайской столицы и бойкую торговлю в гостиных рядах Пекина.

«А хоромы в Канбалыке все каменные, деланы просто, крыты черепицей муравленою, — сообщал Байков, — а улицы проезжие выстланы камнем, а по обе стороны улиц канавы-борозды великия — проведены в реку и озеро, когда бы-

вает вода дождевая, и теми бороздами та дождевая вода из улиц и переулков сбегает и грязей в улицах не бывает».

Перечислил государев посол и всякие товары, которые можно купить в Пекине, сообщил, чего там не найти, не преминул на каждую вещь назвать цену.

«А жемчуг дорог перед нашим русским вдвое; а каменья доброго не видали, а на русские товары на некоторые походу нет, кроме горностаев да песцов... А пряное зелье купят: перцу батман на серебро, гвоздики купят батман по четыре лана, сахару-леденцу купят батман по три золотника, меду купят батман по осьми золотников».

Радея, как только мог, о государевой службе, не сумел все же московский посол добиться при Пекинском дворе успеха в своих исканиях. Не допустили его перед глаза богдыхана Шунь Чжи. Не захотел русский боярин унизить государя своего, не поклонился на пороге дворца гербам и печати царствующей династии и наотрез отказался кому-либо, кроме самого Сына Неба, отдать свои грамоты. Не стал Байков исполнять и обряд кэтоу, требующий пасть ниц перед богдыханом, коснуться лбом земли, передавая подарки, — ибо этим признал бы своего царя данником Срединного государства.

— Кэтоу! — надменно требовала свита богдыхана.

— Не пристойно сие царевым слугам, — упрямились московские послы.

И уехал домой, не добившись сговора ни по поводу рубежей, ни в государевом торге.

Со стороны Китая к тому же прибавилось новое неудовольствие: на Амуре к русским перешел военачальник богдыхана — князь Гантимур и с ним вся его родня и свита. Верные обычаю гостеприимства, русские власти отказались выдать перебежчиков богдыхану.

Горько отозвались на албазинцах распри государств. Маньчжур Лань Тань с тремя тысячами солдат и с несколькими пушками подошел к Албазину. Два года бились за крепостными стенами албазинцы, не поддаваясь ни на какие посулы. Насмерть стояли перед силой, в десять раз их превосходящей. Только голодом и измором удалось маньчжурам овладеть крепостью. Сравняли они с землей крепостные стены, уцелевших же албазинцев, а таких было не больше полутораста человек, привели к Лань Таню.

— Сражались вы достойно, — сказал он казакам, — и потому повелел богдыхан узнать, не перейдет ли кто из вас на службу к нему, хорошо отблагодарит за это всесильный владыка. Те же, кто не согласен стать воином богдыхана, пусть возвращаются к своему государю.

Разделились казаки: из них попросились на родину сто один, и только сорок девять согласились служить чужому владыке.

Но ни одному из албазинцев не довелось больше повидать родной земли.

— Сыну Неба, — сказал Лань Тань, — нужны верные люди. Те, кто не нарушил присяги своему государю, будут верны и богдыхану. Приказывает он зачислить их в свиту своих телохранителей. А те, кто отказывается от своего повелителя, не нужны и чужому.

И сорок девять казаков отправили на поселение в Маньчжурию, где они рассеялись среди коренных жителей.

Сотня же не пожелавших нарушить присяги казаков вместе со священником, с иконами и прочей церковной утварью прибыла в Пекин. По повелению богдыхана, албазинцам отвели дома для жилья и богатую пагоду, в которой разрешили справлять православное богослужение.

Богдыхан осыпал милостями русских воинов: наградил их желтым знаменем, назначил жалованье из своей казны, приказал дать им слуг, а тем, кто пожелает, и жен.

То было время, когда на российский престол взошли малолетние цари Иоанн и Петр. Сестра их и соправительница Софья, устрашенная вестью о вторжении китайских войск в пределы России, повелела нерчинскому воеводе Головину начать с богдыханом переговоры «для оберегания границ от войск китайских и учинения мира на границе с присланными от китайцев послами». Всеми средствами приказано было Головину добиваться доброго согласия с Китайской империей.

И хотя вначале было приказано требовать у богдыхана перенесения границ на восток от Албазина и весь Амур предоставить русским людям, дабы могли они там охотиться, тут же вслед отправили новый наказ, в котором разрешали, в случае нужды, совсем отступиться от Албазина и, в знак дружбы к богдыхану, не настаивать на вознаграждении за разрушение Албазинской крепости. Велели воеводе не жалеть ничего на подкуп богдыхановых слуг, только бы склонить их к согласию закончить дело миром, чтоб можно было бы, наконец, учинять торговые сношения с Канбалыком.

Три года длились переговоры Головина с выехавшими ему навстречу китайскими послами. Переговоры прерывались боевыми стычками. Со стороны русских участвовали в них две тысячи плохо вооруженных казаков и пятьсот стрельцов. А маньчжур Лань Тань выставил четыре тысячи регулярного войска и больше чем полсотни пушек. Подыма-

ли на русских маньчжуры и орды вассалов-кочевников, грозили восстановить против России всех данников Китая. Но Головин отражал атаки и не сдавался на угрозы Лань Таня. Когда же русский посол усмирил, заставил платить ясак доселе верных Китаю князьков, Лань Таню пришлось уступить и отвести войска. Да и сам император Канси стал склоняться к миру. Сговорились о месте для переговоров, выбрали Нерчинск, куда и явились послы богдыхана. Так в 1689 году был подписан первый, скрепленный печатями, договор двух великих соседей. Узаконил он границу и условия торга России с Китаем.

Перечитывая выписки из старых грамот, граф Головкин не мог не признать, что нерчинский воевода, хотя ему и пришлось поступиться Амуром, одержал немалую победу. Впервые за тысячи лет своего существования Срединное государство заключило письменный договор с другой державой, и державой этой была Россия.

Очеркивая ногтем дату заключения Нерчинского трактата, Юрий Александрович задумался. Да, следует извлечь урок из посольства Головина. Воеводе едва не стоили жизни его старания. Как только не вредили враги царскому послу! Китайские вельможи высокомерно заявляли, что не только Амур, но и Верхоленск, Удинск, Селенгинск и Байкал — исконные владения богдыхана. А кто подсказывал это? Миссионеры-иезуиты, влезшие в доверие к Сыну Неба. Они распоряжались в Цзунли ямыне, китайской иностранной палате, мешали России войти в доброе согласие с ее восточным соседом.

В Нерчинске одетые китайцами иезуиты, француз Жербильон и испанец Перейра, искусно выполняя придворные церемонии, подделывали донесения, нашептывали, подстрекали. Уговорили Лань Таня заманить Головина в засаду и там разделаться с посланцем России. Но верные люди, китайские друзья, предупредили воеводу. А когда Иисусовы братья увидели, что им не сорвать переговоров, то предложили русскому послу купить их содействие. Не так уж дорого оно стоило: Головин послал иезуитам сорок соболей, полторы сотни горностаев, два лисьих воротника да угощение — кур, вина и масла.

При подписании трактата послы по обычаю произнесли торжественные клятвы над политой кровью землей и громогласно пообещали «предать вечному забвению прежние ссоры, не нарушать границ и отныне друг у друга свободно покупать».

Перелистывая дальше донесение, кропотливо составленное чиновниками, граф задумался.

«Что же принес России столь дорого стоивший Нерчинский трактат?» — Юрий Александрович сделал несколько пометок в своей записной книжке в шагреневом переплете.

«Да, мало изменились с тех пор дела на русско-китайской границе, очень мало!..»

Сын Неба из-за происков иезуитов несколько лет оттягивал утверждение Нерчинского договора. А когда этого потребовал царь Петр, пославший в Пекин одного из своих любимцев — Елизара Идеса, там отказались принять письмо царя, потому что его титул стоял впереди имени богдыхана.

Посол ко двору богдыхана не удержался, чтобы не чертыхнуться.

— Что за бессмысленная чванливость!..

Из-за нее не раз прерывались с трудом достигнутые дружественные сговоры с китайским двором.

Министры богдыхана не принимали ни одного документа, где имя русского царя предшествовало начертанию всех титулов Сына Неба. В конце концов пришли к решению, надолго остававшемуся в силе: державы стали сноситься друг с другом не от имени монархов, а минуя их.

Но пришлось и самому Канси обратиться к русскому царю. Сын Неба добивался, чтобы переселившийся со своим племенем на берега Каспия и Волги хан Аюк напал на воевавших с Китаем джунгаров. От Канси ехал к хану монгольский князь Тулишань. Молодой император Петр разрешил ему проезд по российским землям и предписал воздавать подобающие его сану почести. Благожелательно отнесся царь к грамоте Сына Неба. После того Канси пожелал видеть в своей столице русских лам, «российских духовных чиновников» (переводил толмач), которые «могли бы для находящихся в нашем великом царстве русских молитвы творить и просить от бога вечного между нашими государствами мира».

Благоволил богдыхан к телохранителям-албазинцам. Они, как писалось в послании, «затосковали» после смерти своего священника. Просили казаки вызвать для них из России нового батюшку с причтом, чтобы можно было совершать церковные требы для людей православного исповедания как тамошних, так и вновь обращаемых в христианство.

Посылка в Китай духовенства пришлась Петру по душе. Не он ли давно добивался дружбы с восточным соседом! До сей поры она не налаживалась. Без конца поступали в посольский приказ челобитные от торговых караванов, направлявшихся в Китай. Жаловались люди, что не у кого искать в «застенном» государстве защиты от притеснений китайских чиновников, не соблюдают они условий Нерчинского договора.

Авось церковники добьются того, что не удавалось светским посольствам. Ведь и второй Петров посол к Пекинскому двору капитан Измайлов не склонил Сына Неба к установлению справедливых границ, к учинению добрых торговых сделок. Правда, Канси соизволил принять Измайлова и даже заявил ему:

— Передай царю, что государствам нашим следует жить в мире, ибо воевать им бесполезно.

Не этим ли словам следовал нынешний богдыхан? Перед отъездом из Санкт-Петербурга Юрию Александровичу под строжайшей тайной сообщили — при дворе стало известно: Бонапарт обратился к Сыну Неба. Первый консул Франции, провозгласивший себя императором, предложил Китаю начать военные действия против России. Но происки его не встретили сочувствия у богдыхана.

Давало ли это основание рассчитывать на успех миссии Головкина там, в Пекине?

Посредником между великими соседями попрежнему оставалось духовенство. Отправленный при Петре причт для пекинской православной церкви стал называться духовной миссией и сменялся каждые десять лет. Посылку в Китай священников и учеников для обучения китайскому языку узаконил новый договор, подписанный в 1728 году в Кяхте после кончины Петра Первого.

Кяхтинский договор едва не стоил жизни русскому послу графу Рагузинскому. Мандарины взяли его в плен и пытались уморить голодом. И здесь не обошлось без участия отцов иезуитов.

Очевидно, и сейчас надо быть настороже. Пока ничто не предвещало радушной встречи в столице Срединного государства.

Как говорили графу, новый причт для китайской духовной миссии включен в состав посольства к Пекинскому двору. Но, в сущности, не обстоит ли все наоборот: блистательное посольство со всеми высокопоставленными лицами, профессорами-востоковедами и драгоманами не прикомандировано ли к попам? Ведь этим попам не надо задумываться о том, как встретит их богдыхан и его мандарины — их ждет в Пекине почетная встреча и узаконенная милость Сына Неба.

Кто удостоится сего? Кто будет представлять российскую православную церковь и, следовательно, Российскую державу в Срединном государстве, дружбы с которым сейчас добиваются монархи Европы? Как это ни печально, но едут в Пекин невежды-монахи, во главе с не то блаженным, не то слабоумным пастырем, погрязшим вдобавок во грехе чревоугодия.

Каждый раз Юрий Александрович нервно вздрагивал, подходя под благословение к отцу Аполлосу, главе новой пекинской духовной миссии. Рука архимандрита пахла чесноком и деревянным маслом, им же, наверное, мазал он и волосы, которые лоснились так же, как его красное круглое лицо.

«В конце концов пусть мажется чем угодно, — морщился граф, — но остальное... Ведь он во всем совершенный невежда!

Боже мой, о чем они думают, эти святые синодские старцы? Если и прежние начальники духовных миссий хотя бы отдаленно походили на отца Аполлоса, то надо ли удивляться, что наши дела с Китаем продолжают оставаться в плачевном состоянии?»

Остановившись в Казани, где духовная миссия должна была пополниться двумя иеромонахами, граф имел беседу с казанским митрополитом Амвросием Подобедовым, который пользовался немалым влиянием в Святейшем синоде.

Граф признал митрополита вполне светским человеком и, несомненно, искушенным политиком. Преосвященный согласился, что отец Аполлос, назначенный главой девятой духовной миссии, не годится для столь ответственной и тонкой роли.

— Вы правы, ваше сиятельство, — сверкая удивительно молодыми на высохшем, пергаментном лице глазами и по привычке проповедника растягивая слова, негромко говорил Амвросий.

— Грязь, поношение и унижение заслуженно ложатся на наших миссионеров, а тем паче на пребывавших в Китае. Не мужи боевые и просвещенные, не воины Христовы, твердо держащие знамя православия силою ума и воли, посылались в Срединное государство, а лишь немощные духом пастыри, понуждаемые к выезду из пределов родины бедственным положением и священнической покорностью. Мало кто из них выносил подвиг служения в чуждой, неведомой стране...

Уже за столом в личных покоях митрополита, убранных, как не преминул отметить про себя граф, с тонким, барственным вкусом (особенно поразили Юрия Александровича превосходная копия с распятого Христа Рибейры и византийской работы филигранный сосуд для омовения ног), договорились собеседники о том, что отец Аполлос будет заменен более подходящей особой.

— Я сам найду главу для пекинской миссии и постараюсь добиться утверждения его в Синоде. Отец Аполлос пусть следует до Иркутска... Не будем пока разглашать об

К стр. 51.

изменении состава миссии. В Иркутском монастыре свободна вакансия настоятеля, быть может, отец Аполлос и пожелает ее занять.

Довольный окончанием переговоров, граф почел долгом сделать комплимент митрополиту по поводу его библиотеки, а также собрания гравюр итальянских мастеров, с которых, как оказалось, митрополит делал весьма недурные копии.

— Занятием сим увлекаюсь с младых лет, — неожиданно оживился преосвященный Амвросий, — и ныне в часы досуга жалким своим резцом пытаюсь постичь искусство великих мастеров.

Амвросий показывал графу рисунки только духовного содержания, но почему-то у Юрия Александровича возникло сомнение, одни ли распятия и лики святых повторяет резец митрополита. В библиотеке его, например, посол не без удивления обнаружил сочинения Вольтера, а на одной из полок заметил произведения сочинителей, которым никак не подобает находиться в книжном собрании духовного лица.

По сему случаю граф, как ему самому казалось, весьма дипломатично спросил:

— Надеюсь, ваше преосвященство, в рекомендуемом вами пастыре мы увидим соединение черт воин Христова и просвещенного мужа, черпающего знания из кладезя, столь богато представленного в вашей библиотеке?

На это преосвященный несколько темно и загадочно ответил, что пастырь, им намеченный, сей кладезь давно исчерпал.

Об остальном причте, направляемом в Пекин, митрополит не пожелал длить беседу, неопределенно бросив, что заменить его слишком сложно и навряд ли в столь короткий срок представится возможным подыскать более достойных.

— Подвижников, видящих миссию свою в бескорыстном служении христовой церкви и возвышении ее, сыскать нелегко, потому что еще скудоумно и убого наше духовенство, — сказал преосвященный.

Впрочем, один из иереев, прикомандированных к миссии, отец Аркадий Булгаков, будучи представлен графу, оказался весьма обходительным и обнаружил даже знание французского языка и умение сидеть за столом.

В Иркутске получил пекинский посол сообщение, что, по представлению митрополита Казанского, Святейший синод утвердил главой новой духовной миссии в Пекине преподавателя Тобольской семинарии отца Иакинфа Бичурина, бывшего ранее ректором семинарии в Иркутске и настоятелем тамошнего Вознесенского монастыря.

В Иркутске не забыли Бичурина. И в сибиряковском особняке помнили о молодом пастыре. Гости шопотом пересказывали историю о девушке, влюбившейся в двадцатичетырехлетнего архимандрита. Немало тогда судачили об этом в городе. Припоминали и то, что, отлично окончив Казанскую семинарию, Бичурин постригся в монахи тоже по романтическим причинам. Но что бы ни болтали люди о новом начальнике духовной миссии, иркутяне сходились в одном: небрежный в исполнении церковных обрядов, отец Иакинф удивлял всех ученостью, и проповеди его привлекали верующих.

Глава пятая

Летом светлыми серебристыми сибирскими вечерами он любил ходить к Иртышу и подолгу задумчиво стоял на берегу.

Оставляя глубокие следы на сыром песке, носились по берегу босоногие мальчишки. Приметив черную рясу, они на мгновение опасливо отбегали, но тут же с криками возвращались к мальчишеским своим занятиям: швырянию камней в реку, поискам птичьих гнезд в береговых уступах и стрельбе из рогаток.

Глядя на юркие детские фигурки, отец Иакинф представлял, как удивились бы ребята, узнав, что высокий черноризец, молча перебирающий четки, не так давно швырял камни в реку с такими же, как они, чумазыми и босыми парнишками и в стычках с дружками отбивался кулаком, катался по земле.

А может, ребятишки будут правы, если не поверят этому? В самом деле, было ли у него детство? Слишком рано кончилось оно у дьячковского сына Никиты. Детства не стало, когда одиннадцатилетнего грамматика, вернувшегося после каникул из родной деревни, вызвали в ректорскую келью. Там в своей старой рваной рясе, согбенный горем, стоял дьячок Иаков. Трясущейся бороденкой припал он к сыну.

— Мать, — повторял он, — мать... взял бог... Матушка наша!.. На кого сирот оставила?.. Сиротинушка горький, Никитушка, сыночек!..

Отцовские слезы смочили щеки Никиты. Мальчик ужаснулся, замер, а слез не было. Тогда-то и кончилось детство. Не стало родного крова. Остались классы и мрачные кори-

доры семинарии. Что бы он делал, если бы не книги, заставлявшие забывать горести, и не дни в саблуковском доме!.. Этот дом и его обитатели привели семинариста Бичурина к мыслям, мало согласным с учением о божественной всеблагости. И все-таки он стал монахом. Мирское имя переменил после пострижения и стал называться Иакинфом. И сразу же — сан архимандрита и назначение в Иркутск.

Снова классы и коридоры семинарии. Но уже не маленький грамматик Никита из чувашского сельца Шинери прячется от обидчиков за сводчатыми выступами, а отец ректор, преосвященный Иакинф Бичурин, проходит по семинарским покоям, осеняя крестом порученную ему паству — согнанных из соседних приходов сыновей дьячков, причетников и попов.

Как часто говаривал он себе:

«Тебе велели учить юношество повиновению властям предержащим, убеждать в том, что бог — творец мира, что все в этом мире совершается по благостной его милости. Добивайся же, чтобы они поверили сказкам о всемогуществе божественном и ничтожестве человеческом и, затвердив, потом возвещали это с клиросов церквей».

Он был бессилен что-либо изменить в семинарских обычаях. Когда он наложил наказание на казначея, обиравшего учеников, лихоимствовать стали другие. Попрежнему голодные ученики просили милостыню и таскали на базаре снедь у зазевавшихся торговок.

Старшие же семинаристы спешили надеть рясу, чтобы наконец-то не голодать. А он пытался сделать из них просвещенных людей, объяснить, что не божество в трех лицах ведет мир к совершенствованию, а вечное стремление к познанию истины одухотворяет человека и освещает путь человечеству.

«А что же ты успел? — спрашивал он себя. — Мало... Хотел бороться со злоупотреблениями духовных властей, читал римских авторов и искал забвения в земной любви. Да, и в земной любви...»

Это было пресечено. Синод определил: «Лишить ректора Иркутской семинарии архимандрита Иакинфа креста, запретить священнослужение со снятием сана и сослать его в Тобольск, с тем чтобы здешний преосвященный употребил его на учительскую должность, доколе смирением не загладит свершенного преступления».

Ему было приказано: не отступая от канонов истинной веры, учить здесь, в Тобольске, законам богословия будущих пастырей. Они были весьма нужны. Святейший синод тре-

бовал обратить в лоно православной церкви племена инородцев, кочующих по сибирской земле.

Чего же достиг он здесь? В юности мечтал подражать трудолюбию римлянина Гая Плиния и во время путешествий и в заточении не прерывавшего своих исследований. Из трудов Плиния и сейчас можно почерпнуть много полезного. Не от Плиния ли шел Бюффон, объяснивший происхождение Земли изменением материи, а человека завершением ее развития? Труды Бюффона, Вольтера, Дидро, Рейналя и великого соотечественника, Радищева, привез он из Казани. Они соединяли с миром, открывшимся ему в саблуковском доме. Как жил бы он без поддержки этих мыслителей в своей темнице, называемой Тобольским Знаменским монастырем? К ним обращался он в часы тягостных раздумий и мучительных сомнений.

Славой Знаменского монастыря была чудотворная икона богородицы. Высоко вознося к небу хоругви, священнослужители выходили на улицы города, поражая воображение необращенных еще язычников. Иакинф же запирался в своей келье и перечитывал книги, в которых борцы с темными силами издевались над ложью и суевериями церкви.

Книги напоминали вечера у Саблуковых. Опять Никита Бичурин видел перед собой Таню, декламирующую «Громвала», сочиненного Гаврилой Петровичем Каменевым, гневно вспыхивал, вспоминая обличительные речи Саввы Андреевича Москотильникова, на память повторяющего страницы радищевского «Путешествия».

Где они теперь, друзья его?.. Самые близкие — Саня, верный друг его отрочества, и Таня Саблукова, Беатриче его юношеских лет, — теперь дороги ему по-иному. Думая о них, видит бог, он хочет для них только счастья, мира и спокойствия. Да, они счастливы. Татьяна Лаврентьевна писала, что Саня преподает словесность в Саратовской гимназии, что сама она переводит для мужа итальянских авторов, что квартира их хотя и тесновата, но ежели приедет дорогой им Никита Бичурин, то самый славный уголок в доме будет его. Она осталась такой же, как и была, Таня-Кассандра с двумя косичками, по-детски ласково встретившая неловких, неотесанных богословов.

Иных из казанских друзей уже нет. Здесь, в Тобольске, узнал о смерти Гаврилы Петровича Каменева, в молодых годах, в расцвете таланта погибшего от наследственного недуга. Скорбя, писал о смерти поэта Савва Андреевич Москотильников. С горькой этой вестью явился к Иакинфу посланец от него. Нет, не оторван он в своем заточении от друзей по духу и стремлениям! Путешествующий по Сибири

Василий Васильевич Дмитриев посетил его, назвался членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, к которому принадлежал и покойный Гаврила Петрович.

Путешественник убедился в справедливости восторженных отзывов, данных Москотильниковым. Под рясой монаха увидел гость единомышленника. Долго просидел он в келье Иакинфа, описывал беседы в Вольном обществе, одним из основателей которого являлся. И когда Бичурин в горьком своем одиночестве не выдержал, посетовал на тщету усилий принести пользу народу, сказал, что не зрит он на сибирской окраине нужной почвы, — гость энергически возразил:

— Не правы вы! Знания, коими вы владеете, острота вашей мысли разве не дают возможности именно здесь, в обширной и отдаленной части России, потрудиться с наибольшей пользой! Подумайте: есть ли занятие более увлекательное для друга человечества, нежели наблюдение за ходом истории племен и народов, населяющих необозримые пространства Сибири! Сыны нашего отечества в своей прошлой истории и в нынешнем состоянии незаслуженно признаются неравными, низшими по разуму. Труды ученых, философов и моралистов должны рассеять сие заблуждение. И ваш долг — жизнь свою посвятить тому, чтобы помочь сим малым народам.

Визит просвещенного и пылкого гостя не прошел бесследно для тобольского отшельника. Мысль, и ранее обращавшаяся к истории разноплеменного, инакоязычного народонаселения, получила новый толчок.

Здесь, к северу от Тобольска, наблюдал он идолопоклонников, силой обращаемых в православие. Оберегая веру отцов, все дальше в лес уходят беззащитные люди. В потаенных местах, недосягаемых чужому глазу, скрывают своих божков — хранителей рода. Вот так же и в заброшенной чувашской деревушке берегли добрых духов, покровителей керемети.

В дни, когда он пытался разобраться во всем этом, пришла к нему весть от человека, всегда так или иначе влиявшего на его судьбу. Заступник, покровитель маленького грамматика из деревушки Шинери, приветливый наставник богослова Бичурина, по-отечески следил он и за судьбой монаха Иакинфа. Немало ударов отвела властная рука этого человека от непокорной, горячей и — чего уж скрывать! — сумасбродной головы любимца. Неизменно благожелателен к Бичурину преосвященный Амвросий Подобедов, ныне возведенный в сан митрополита Казанского.

Человеческой лаской обогрел он загнанного, бедного ребенка, ввел его в мир книг, толкнул на путь знания, освобождающего от гнета суеверий. Друг заботливый, близкий. И все же остается он неразгаданным. Не волей ли этого привыкшего властвовать и повелевать человека пострижен Никита Бичурин в монахи, носит ненавистный черный клобук? И не потому ли погребен ныне в темнице, уставленной ликами святых? Да, по совету Амвросия Подобедова удалился он от мира. Чего достиг бы в миру сын безвестного, нищего дьячка? Лучше других понял это преосвященный, монашеским постригом решил уготовить Бичурину иной путь. Двойственна натура Амвросия Подобедова. Что заставляет его, все понимающего в лицемерии церкви, быть так преданным ей?

Вот на пахнущей ладаном бумаге письмо митрополита, вот строки, размашисто, острыми, косыми знаками писанные: «Сын мой, неусыпно думаем мы о тебе и не видим утешения в нынешнем состоянии твоем. Безустали искали мы возможности благоприятного изменения его, и ныне с помощью божьей такое представилось. На запрос из Святейшего синода назван ты нами как наиболее достойный быть главой российской православной миссии в Китае... Поразмысли, сын мой, решай сам... Мы же видим для тебя на сем поприще немалые возможности для приложения добрых и разумных сил, кои ведомы нами в тебе, и верим мы, что сие поприще найдет в тебе достойного деятеля и будет тобой возвеличено...»

Прочел письмо, письмо друга заботливого, любящего, опекающего... и заплакал, как когда-то плакал маленький мальчик, испуганно застывший у полки с книгами. Не хочет он скрывать этих слез благодарности и не стыдится их.

Разве не несет выход из темницы это письмо? И не сама ли судьба в том, что волей своего покровителя он сможет начать труд, к которому влечет сердце? Показалось, что опять плеча его мягко коснулась сухая рука Амвросия. «Иди, — толкала она, — иди и трудись там, где я не сумел сделать ничего истинно полезного».

Да, он послушает мудрого совета, начнет трудиться, искать источники, еще скрытые от науки. И тогда расскажет людям о народах, история которых должна войти в историю цивилизованного мира. Нет низших народов, нет пасынков, все дети одной матери — природы.

...Опять Иакинф Бичурин в Иркутске — городе, который не миновать путешественнику, направляющемуся из России в Китай. Убогие лачуги бедняков, купеческие хоромы, золотые главы монастыря, унылый колокольный звон которого

будил тяжелые мысли. Нет, не об этом сейчас хотелось думать! Как никогда раньше, подмечал он на улицах Иркутска приметы, говорившие о близости страны, которая притягивала сейчас его. На площади перед гостиным двором разгружался караван; на тюках были начертаны черные иероглифы. Длинные раскрашенные ящики — это чай, который ждут в Сибири, за Уралом, в Москве. Чай разных сортов: жулан, дающий зеленоватый напиток с пьянящим, крепким ароматом; монихо — душистая смесь чая с цветком жасмина; байховый насыпной, острый запах и янтарный цвет которого так ценится знатоками. Плотные плитки кирпичного чая, любимого кочевниками; его пьют, посолив, приправив коровьим маслом и сметаной.

Из Срединного государства идет в Россию дешевый сахар-леденец, бойко раскупаемый на сибирских ярмарках, пряные плоды бадьяна, из которого аптекари готовят духи и притирания. Везут из Китая для школяров и ученых чернила и тушь, для курильщиков — шар, лучший китайский табак, и фарфоровые и глиняные трубки.

Каких только шелков, бархата, штофа всех цветов и невиданно затейливых узоров не вывозят из этой страны! Недаром называют ее «Шелковой страной». Безмерное количество шелку изготовляется китайцами. Мандарины, ученые люди, знатные женщины — все, кто какой-либо имеет чин или звание, носят одежду шелковую, атласную или камчатную. Но и сверх того хватает в Китае шелков на продажу в европейские страны.

Российские щеголихи гоняются за веселым китайским товаром: лентами, веерами, покрывалами. В Сибири служивый народ и мещане одеваются в шанхайские, пекинские, калганские ткани.

В иркутском гостином дворе разгружаются караваны с китайскими товарами; отсюда они растекаются дальше по всей стране. Здесь, в Иркутске, давно привыкли к людям с косами, бойко перебрасываются с ними китайскими словами, а заезжие торговые гости сыплют русскими словечками. Вот и сейчас, сгружая с верблюдов тяжелую кладь, они весело переговариваются с местным людом.

— По-со-би! — певуче выкрикивает рослый караванщик.

— Ладно, братец, ладно!.. — на ходу бросает подстриженный в скобку парень и взваливает на свою спину большой тюк.

Красным дорогим товаром, сокровищами сибирской тайги, добычей смельчаков-охотников снабжает китайских купцов иркутское торжище. Отсюда везут в Китай драгоценную «мягкую рухлядь»: переливающийся отсветом золота

мех камчатского и обского бобра, шелковистый, нежный мех хитрого зверька — соболя, за которым так ловко охотятся якутские и баргузинские звероловы. А лисы всех расцветок — красные, чернобурые, белодушки, сиводушки, а островные, охотские, морские бархатистые коты, а норки, а белочки, по меху которых узнаются леса ленские, нижнеамурские, климские, нерчинские и селенгинские! Высоко ценится в Пекине мех горностая, длинноволосый песец, золотистая бархатная выдра. Шкуры медведей, волков, россомах и рысей отправляют сибирские купцы в Срединное государство.

Богато, именито иркутское купечество... Дворцом называют жители Иркутска особняк первейшего богатея, купца и городского головы Василия Игнатьевича Сибирякова. Но санкт-петербургских гостей удивить нелегко. Прохаживаясь по сибиряковским хоромам, граф Головкин усмехался. Все так и кричало о миллионах хозяина. Английская мебель, французские гобелены, русские изразцы! Но только раритеты, вывезенные из Китая и Монголии, притягивали взгляд посла. Ого, вот это любопытно! Китайские покои. Раздвигающиеся двери-ширмы, алтарь с божками...

— Точно как в жилище пекинского обитателя, — поклонился хозяин, приглашая гостей присесть на вделанные в стены диваны—каны.

Пристрастие хозяина к Поднебесной империи сказывалось во всем. Женщины в доме наряжались, как китаянки, украшали прически цветами и черепаховыми гребнями. Беседуя с гостями, обмахивались веерами из павлиньих перьев с хитро украшенными костяными ручками.

К столу подавали приготовленные поваром — уроженцем Пекина — блюда и лакомства. А в заключение трапезы предлагался на выбор чай всевозможных сортов; его пили без

сахару из тонких фарфоровых чашечек. Хозяин каждый раз почитал долгом произнести название чая и место, где он произрастал.

— Сун ло, его собирают в провинции Аньхуэ и Цзянси. Цвет его светлозеленый. Он проясняет голову и освежает мысль.

— А это лун цзин, любимый китайцами чай из провинции Чжэцзян, цвет его напоминает весеннюю траву. Его пьют в дни празднеств, без него не обходится ни одно торжество.

— И если угодно, вот сорта, издревле составлявшие славу китайских чаеводов, — «Птичий язык» и «Серебряные иглы».

— Нельзя не удивляться приверженности вашей, Василий Игнатьевич, к обычаям Срединного государства, — заметил граф, небрежно отпивая из дымящейся чашечки.

Сибиряков, с немалым достоинством держащийся перед знатным гостем, погладил бороду и не без задора бросил:

— Так полагаем, ваше сиятельство, — хорошее перенять не зазорно.

— А много ли достойного подражания довелось вам приметить у восточных соседей? — полюбопытствовал Юрий Александрович. Он считал полезным собирать сведения о загадочной стране, в которую направлялся.

— Хотя русскому человеку свое всегда милее, но кое-чему поучиться у соседа не грех. В ремеслах китайцы прилежны и искусны. Прядение и ткачество от них давно бы к нам перенесть следовало. Об этом, ваше сиятельство, немало мы размышляли, когда в тамошних землях бывали. Правда, ходят слухи о ненависти китайцев к чужестранцам, но коли почуют, что без злого умысла пришел к ним человек, то какой бы ни был веры, уважат гостя... А что промыслы свои они охраняют крепко — это верно.

— Чем же объяснить, что народ этот столь подозрителен, даже когда дело идет о собственной выгоде? Почему прерывает торг с соседями? Разве не на все уступки идет наше правительство, желая поддержать коммерцию со Срединным государством? — допытывался Головкин.

— Ваше сиятельство совершенно правы, — вмешался коллежский асессор, ведавший при иркутском губернаторе торговыми сношениями с Китаем. — Наивысшие государственные сферы всегда нам предписывали в переговорах с амбанями богдыхана заверять в соседственной приязни. И с нашей стороны всякое к тому старание прилагалось...

— Не взыщите, если свое слово добавлю, — прервал асессора Сибиряков, — тут-с, ваше сиятельство, не в купцах

коренная причина... О торговле с нами китайское купечество не менее нашего радеет. Мандаринство выступает противу торга с русскими. О том не думают, что равно выгодно сие и для казны и для подданных обеих империй. Уполномоченные богдыхана, амбани, только и делают, что чинят нам всяческие препятствия. Как ни тщимся отвращать недоразумения, всякий раз находят повод для затруднений... У всех на памяти дело с Улудзаем. Из-за этого перебежчика чуть не на семь лет китайцы с нами торг прекратили. А после смерти Улудзая потребовали выдачи всех его родичей. Бывало в Кяхту приедешь, а там разоренные купцы об одном своих кумиров молят: поскорее бы Улудзаевы приспешники богу душу отдали. Авось амбани тогда умилостивятся и торг зачинать разрешат...

Деловая сметка давно помогла Сибиряковым оценить выгоду торговых сделок со Срединным государством. Прадед Василия Игнатьевича, бесфамильный беглый казак Федор, после долгих мытарств добрел до границы с Китаем, начал с худой торговлишки, а под конец жизни отправлял обозы с китайскими товарами по всей Сибири.

Рассказывая, как зачинался род Сибиряковых, Василий Игнатьевич упоминал, что прадеду Федору и другим беглым казакам, искавшим вольной жизни на землях Приамурья, китайские начальники препятствовали на приграничной полосе сеять и собирать урожай. Казаки бедствовали. Тогда, жалея чужеземцев, простые подданные богдыхана приносили им чумизы и рису.

— Да далеко ли ходить за примерами, — добавил в заключение затянувшейся беседы Василий Игнатьевич. — В прошлом году, будучи по делам в Кяхте, сам наблюдал, как бросились китайцы и монголы на помощь казакам, когда в русском форштадте загорелись сараи с сеном. Да, свидетельств братской приязни соседствующих народов много...

Посольство задерживалось в Иркутске: в Пекине тянули с официальными процедурами. Но граф Головкин придерживался правила — не настаивать и не обижаться. Делая хорошую мину при плохой игре, он терпеливо переносил провинциальные развлечения, балы и рауты, которыми иркутская знать потчевала столичных гостей. Ответные приемы устраивались и в сибиряковском дворце.

Гремел в особняке оркестр и в тот час, когда глава духовной миссии отец Иакинф Бичурин явился представиться послу. Звуки вальса слышны были в приемной графа, переделанной из голубой китайской гостиной.

Поднявшись с дивана, по бокам которого стояли в человеческий рост вазы с плывущими к лазоревым небесам пти-

цами, посол сделал несколько шагов навстречу иеромонаху и быстрым движением прикоснулся губами к его руке. Секретарь посла проделал то же самое и только невысокий плотный человек в коричневом сюртуке не подошел под благословение, а, лишь почтительно склонив голову, остался стоять у лазоревой вазы.

— Барон фон Клапрот, — представил посол, — известный ученый-китаевед, следует с нами, дабы обогатить науку новыми сведениями об истории Срединного государства...

Барон еще раз поклонился православному монаху и, обращаясь к графу, произнес несколько французских фраз.

— Барон надеется, что по приезде в Пекин ему будет дозволено познакомиться с архивами миссии, в коих он надеется обрести полезное для ученых изысканий... — начал было переводить Головкин.

— В своих занятиях барон может рассчитывать на наше полное содействие, — по-французски ответил отец Иакинф.

Только светское воспитание удержало графа Головкина от возгласа удивления.

«Так вот каков протеже Казанского митрополита!» — отметил про себя Юрий Александрович, подвигая кресло гостю.

Остался ли посол доволен новым главой духовной миссии? Оказывается, разжалованный архимандрит не менее хорошо, чем французский язык, знал и французских вольнодумцев. Он не раз осмеливался на них ссылаться, споря с Клапротом, распознавшим ученого за рясой монаха. Предметом спора была, конечно, страна, занимавшая всех в сибиряковском особняке: о Китае, китайцах, их истории, делах и обычаях высказывались разноречивые мнения. Приводили случаи удивительных на взгляд европейца поступках подданных богдыхана, передавали слухи о странных, непонятных обычаях в личной и общественной жизни.

Но к чему вступать в споры? Ученые, сопровождавшие посольство, строили свои домыслы на догадках и чужих свидетельствах.

— Так в своих записках говорит Дегинь, — повторяли они.

Отец Иакинф хорошо знал записки бывшего французского резидента в Китае. Дегинь судил весьма поверхностно о китайском народе, а сибирские племена именовал дикарями. Что касается истории Востока, то Дегинь, подобно другим западным ученым, путался в догадках. Да и Клапрот повторял вымысел об индо-германском происхождении сибирских племен.

Но что значат теории о происхождении народов, коих европейцы тщатся цивилизовать по своему способу? Жестокие колонизаторы, почитают за одно цивилизацию и порабощение! С беспощадной правдой показал картины колониального рабства и тирании Рейналь в своей «Философской и политической истории проникновения торговли европейцев в обеих Индиях».

Его сиятельству пекинскому послу весьма не понравилось упоминание о французском мыслителе. Правда, барон Клапрот успокоил графа, аттестовав Рейналевы сочинения не столь научными, как фантастическими.

Наконец настал день, когда посол со своей свитой покинул Иркутск. Из Пекина пришло приглашение российскому послу прибыть в Ургу. Там мандарины Сына Неба встретят посла, чтобы сопровождать его до столицы Срединного государства. Духовная миссия, которой при въезде в богдыхановы владения не полагалось торжественных церемоний, последует в Пекин сейчас же после утверждения Иакинфа в прежнем сане архимандрита.

С отъездом посольства в Ургу прекратились светские сборища и ученые заседания с бесцельными спорами. Немного пользы принесут они, если будут продолжаться в Пекине.

Если бы отец Иакинф мог отделаться от всего, что навязывают ему дипломаты и синодские чиновники! Оказывалось, что глава православной миссии должен «давать ход и наблюдение делам», которые, конечно, отвлекут от задуманного труда. Избавиться от сего невозможно. Недаром, беспокоясь о строптивом и упрямом воспитаннике, присылал Амвросий длинные наставления.

«Помни, — писал митрополит, — многообразны и обширны предметы занятий миссии: одни из них относятся до дел духовных, состоящих главнейшее в поддержании проживающих в Пекине албазинцев в христовой вере; другие — до учебной части и до прочих предметов внутреннего и хозяйственного управления. Всем сим занятиям и различным делам следует давать направление, согласное с целью учреждения миссии, равно как и с истинными пользами отечества. Неусыпно наблюдай, сын мой, за успешным течением сих дел, а равно и за нравственностью лиц, подчиненных тебе. Не буду напоминать тебе об ученой части, составляющей одну из важнейших твоих обязанностей. Разумение и знания твои сами подскажут, как распорядиться здесь наилучше. Но должен иметь ты в виду, что миссия и в других отношениях может сделаться полезным для отечества орудием, способствуя через посредство своих связей в Пекине к поддержанию и упрочению существующих с Китаем мирных

и торговых сношений и к отвращению всего того, что могло бы повредить выгодам и интересам нашим в том крае, куда ты направляешься».

Новые дела и занятия, церковные и светские, захватили отца Иакинфа. Больше года держат они его в Иркутске. Приходится утверждать хозяйственные распоряжения, подписывать описи и реестры, каждодневно беседовать с приставом, назначенным для сопровождения каравана духовной миссии в Пекин.

Верней всего, что посол и его свита прибудут туда раньше. Это блестящее общество, наверное, уже отправилось из монгольской столицы в дальнейший путь.

Но и церковники близки к отъезду. Покончено с последней церемонией. Нестерпимо лицемерное притворство, в которое отец Иакинф опять вовлечен. Вновь он преклоняет колени пред иркутским преосвященным Багрянским, который, конечно, не забыл, как архимандрит в бытность ректором Иркутской семинарии разоблачал его, громогласно обвиняя в симонии — бесстыдной продаже богатых приходов.

Немало постарался тогда Багрянский для удаления Бичурина из Иркутска. А сейчас самолично служил литургию при возведении его в сан архимандрита и провозглашал достойнейшим мужем на новом поприще.

Но все это уже позади.

Уже готов караван, закуплены повозки, лошади, заказаны в Кяхте верблюды.

Собран обоз «просительных поминок» — подарков, которые будут раздаваться властям и чиновникам по дороге и в самом Китае. Запакованы иконы, евангелия, крестики для будущих обращенных. Прибыло и новое богатое облачение для причта. Готов к отъезду и сам причт.

Полно, готов ли? Всеми силами оттягивают церковники день отъезда.

Не по велению сердца едут в неведомый край иеромонахи и дьяконы. Соблазнился жалованьем и обещанием по возвращении получить богатый приход отец Серафим. Менял монастыри, запивал горькую иеродьякон Нектарий, и только устрашенный расстрижением, согласился поехать в чужедальний край. Нет, на них не может положиться начальник духовной миссии. На кого же? На иеромонаха отца Аркадия Булгакова? Нет, конечно! Разве согласился бы Булгаков поехать в Китай, ежели бы знал, что главой миссии станет бывший богослов Никита Бичурин!

Представляясь в Иркутске, он, подобострастно согнувшись, приложился к руке отца Иакинфа и смиренно выдавил:

— Возблагодарю бога за ниспослание в пастыри нам мужа премудрого, просвещенного ученостью.

Булгаков разыгрывает роль во всем покорного и старательного, но сощуренные зеленовато-серые глаза его говорят о другом. Пожалуй, Никита Бичурин должен почаще напоминать отцу Иакинфу об этих глазах, в ледяной глубине которых, как некогда в семинарские времена, таится угроза.

Но были другие глаза, в которых читал архимандрит неподкупную преданность — задумчивые глаза Василия Яфитского, бедного причетника.

— Почто к длиннокосым в Китай задумал отправиться? — спрашивали спутники простодушного Василия.

— И в Китае жить можно. Чай, длиннокосые тоже люди.

...Караван девятой духовной миссии не успел еще покинуть Иркутска, когда блестящее посольство ко двору богдыхана неожиданно вернулось.

Не удалось графу Юрию Александровичу украсить новыми лаврами дипломатическую летопись рода Головкиных. Не достиг он тронного зала Сына Неба, не заставил китайского владыку принять предложения российского императора.

И все-таки не допустил Головкин, чтобы поколебалось к нему монаршее благоволение.

«Следуя велениям высокого верноподданнического чувства, приказывающего всегда и во всех обстоятельствах охранять неприкосновенно честь и достоинство Российской империи, стойко и твердо стояли мы на защите оных...» — так верноподданнически начиналось донесение графа в Санкт-Петербург.

Но про себя Юрий Александрович выражался куда проще и откровенней. Весь обратный путь из Урги он чертыхался и отплевывался, проклиная чиновных варваров в расшитых драконами и лотосами одеяниях. Тридцать три дня отвешивали они мерные поклоны, умильно улыбались, угощали вином, тягучим, пахнущим дамскими притираниями, блюдами, приправленными непонятными специями, а в конце концов... Чорт возьми, на заре девятнадцатого века, века просвещения и цивилизации, они хотели заставить его совершить кэтоу! И перед кем? Перед третьестепенными мандаринами, ургинским ваном и несколькими ничтожными монгольскими дзаргучаями. Это перед ними-то посол российского императора должен был девять раз опуститься ниц, девять раз стукнуться лбом о землю, как того требовал пресловутый обычай. Нет, граф Головкин, рожденный Рюрикович, никогда на то не согласится!

Пусть благодарят, что он сохранил спокойствие и, соблюдая дипломатический церемониал, приказал толмачу как

можно вежливей перевести проклятым мандаринам, что готов выполнить священный обряд перед Сыном Неба, государем Срединной империи Цзя Цином, но перед почтенными и знатными его приближенными не решается на исполнение сего обычая.

Не прекращая поклонов и уверений в беспредельной преданности, мандарины в ответ исходили улыбками, продолжали повторять, что ежели дорогой их сердцу высокородный, знатнейший гость не совершит кэтоу, то лишит их величайшей радости сопровождать его в Пекин ко двору их повелителя.

И он лишил их этой радости. Он возвращался обратно в Санкт-Петербург. Впрочем, это, может быть, к лучшему. Обстановка в столице изменилась. Наполеон из врага России превратился в ее друга. Александр Первый, пытаясь быть тонким дипломатом, заключил мир с тираном Франции. Деспот, распоряжавшийся как полновластный хозяин в Европе, заискивал перед Россией.

Восточный варвар, китайский богдыхан, не раз еще пожалеет, что отклонил в лице графа Головкина честь вступить на путь дружбы с могущественным соседом.

Впрочем, не все потеряно и в Китае. Миссия хотя и поповская, но все же едет туда. Некоторые дипломатические обязанности, вроде изучения политической обстановки, наблюдения за приезжающими в Китай иностранными искателями, за ценами на рынке и кое-что другое, можно поручить церковникам.

Придется поговорить об этом с просвещенным архимандритом. Интересно, понимает ли он, что не только сохранение в истинной вере нескольких потомков албазинских головорезов является его главной обязанностью? Сдается, что вольнодумец с нашейным крестом вряд ли будет заботиться о славе русской церкви. Нет, отец Иакинф не внушает графу доверия. Оригинален в суждениях, спорит о том, чего по своему сану не только оспаривать, но и касаться не должен.

Не обратиться ли к другим иереям миссии? Они не столь просвещенны, скорее всего скудоумны, зато надежней. И среди них есть один, который, кажется, не так глуп — отец Аркадий Булгаков. Его следует обласкать и намекнуть: пусть наблюдает за этим вольтерьянцем в рясе. Всегда полезно получать кое-какие приватные сведения, а не довольствоваться одними официальными донесениями.

Глава шестая

Как хорошо, что чувашский мальчонка Никита приохотился скакать на молодых, необъезженных конях в родном Шинери! Не избавился он от страсти к лошадям и в Казани. Не раз, выпросив в татарской слободе низкорослого скакуна, богослов Бичурин носился по степи, вызывая одобрительные возгласы встречных.

И сейчас, когда в Кяхте, последнем пограничном пункте России, православная миссия, выстроив караван, готовилась, наконец-то, перейти рубежи родины, впереди на молодой пегой кобылке гарцевал начальник миссии, архимандрит отец Иакинф. И так же, как когда-то в казанской степи, любовались всадником казаки, сопровождавшие караван.

— Ай да поп!.. Чистый чорт в седле! — крикнул кто-то из охраны, когда отец Иакинф вскочил в седло и пегая кобылка, почувствовав уверенную руку всадника, встрепенулась и с места взяла вскачь. Но архимандрит попридержал повод и не спеша объехал далеко растянувшийся обоз.

Впереди ряд повозок, в них разместились члены духовной миссии. За повозками, в которые были запряжены сытые бурятские кони, готовились начать свой мерный, плавный ход верблюды с вьюками. За верблюдами и табуном запасных лошадей, свободных от поклажи, мычало стадо быков. Несколько неуклюжих арб замыкали поезд.

— Ну, кажется, все, Семен Перфильевич, — подъехав к головной повозке, нагнулся архимандрит к приставу каравана капитану Первушину. — Двинулись!..

В кяхтинской церкви окончился молебен о благополучном пути отбывающих. Сверкая золотом риз, вышло духовенство проводить миссионеров, дьякон спешит окропить

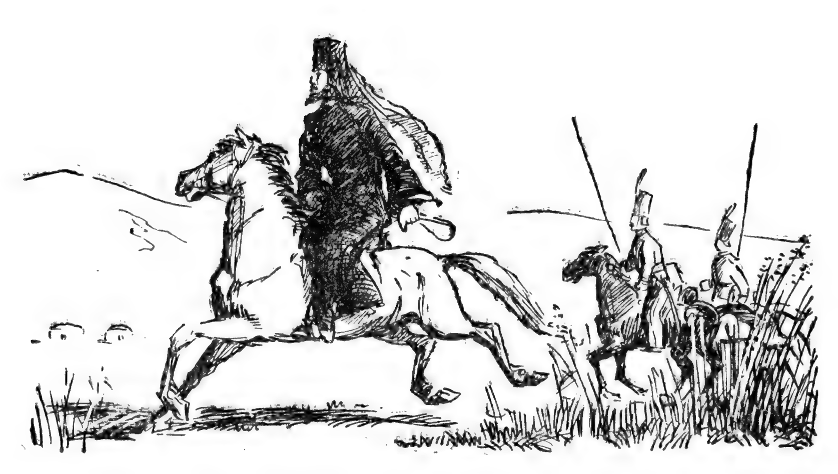
святой водой повозки и упряжь. Хоругви колышутся на ветру, пугая животных. Густеет толпа любопытных, бегут с площади мальчишки, выскакивают из торговых рядов приказчики, крестясь, подходят бородатые сибиряки... Но вот уже рванули тройки, резво пошли казачьи лошадки, а впереди, уже не сдерживая пегой кобылки, скачет архимандрит.

Пришел долгожданный час. Караван в пути. Конец церковным службам, молебствиям о даровании благословенных успехов, пирам и обедам с разливанным морем вина, которыми иркутское и кяхтинское купечество угощало отъезжающих иереев.

Позади Кяхта — средоточие русско-китайского торга. Ее улички с китайскими лавками, украшенными у входа лентами и безделушками. Груды, горы товаров, выставленные на перекрестках. Караваны с шелком, чаем, инбирем, шаром — крепким китайским табаком, тюки мягкой рухляди, кипы кож. Здесь все оценивалось, менялось, продавалось, грузилось, сближая людей, сметая преграды, которые ставили власти, религия, обычаи.

За Кяхтой — живой кусок Срединного государства: поселение Маймачен. Толмач переводит эти три слова: место купли-продажи. Маймачен — это торжище, ярмарка.

Караван въезжает за невысокую деревянную ограду, которой обнесен Маймачен. Как по линейке, стоят глинобитные домики, над ними колышутся пестрые бумажные фонарики. Толпа, привлеченная необычайным кортежем, пестра и разноплеменна. Заметив рясы церковников, на всякий случай осеняют себя крестным знамением русские мужички,



приехавшие на торжище, толкутся около табуна буряты, лезут к верблюдам мальчишки, прислуживающие в лавках, наездники-монголы останавливаются у повозок.

Пробираясь через скопище людей и животных, караван движется к дому маймаченского дзаргучая, где миссию ждут китайские проводники. Три всадника соскакивают с лошадей, приветствуя православного даламу, — таков теперь титул отца Иакинфа. Бошко, старший из всадников, — на чин его указывает белый матовый шарик, прикрепленный к остроконечной шапке, — становится на колено и, дотронувшись левой рукой до локтя правой, произносит монгольское приветствие:

— Амур, менду! Мир, здоровье!

Второй и третий офицеры, присланные правителем Халхасского аймака, повторяют жест и слова бошко.

Капитан Первушин отдает честь офицерам и делает знак обозному начальнику, — обычай велит одарить проводников, задобрить их, чтобы всемерно помогали каравану в пути. Перед военачальником ставят ящики — в них сукна, меха, ножи, бритвы.

Архимандрита и миссионеров встречает дзаргучай и самые почтенные маймаченские купцы. Низкие поклоны, длиннейшие изъявления радости по поводу приезда русского даламы.

— Да разрешит любимейший богом гость считать его благословенное небом появление знаком высочайшего благорасположения и взаимного, нерушимого между столь высокими государствами дружества...

— Гляди, как стараются! — не выдерживает капитан Первушин. — Ишь, знает кошка, чье мясо съела!..

Капитан Первушин угадал: особенная, превосходящая даже обычный церемониал предупредительность дзаргучая, заискивания купцов объясняются просто: в Пекине недовольны отъездом Головкина. Повинных в этом ургинского вана и мандаринов подвергли опале.

Молодой китайский купец выходит вперед и, старательно выговаривая каждую букву, произносит несколько русских слов:

— Дружба хороша... Дружба очень надобна...

— Слышите, отец Иакинф?.. По-русски знают, — довольно шепчет капитан, когда по приглашению дзаргучая гости входят в дом. — Ни одного своего купца китайцы в Маймачен не допустят, пока по-русски не выучится. Боятся, что иначе нашим купчинам по-ихнему учиться придется... Не дай бог, тогда в ихние секреты проникнут... Здорово того страшится маймаченское начальство.

Слуги дзаргучая разливают в фарфоровые чашки зеленоватый напиток, рекомендуемый хозяином как сливовое вино, дарящее забвение и радость.

Капитан Первушин одним глотком опорожняет крошечную чашечку, а уже с русской стороны предлагают тост за дружество между великими державами — Россией и Срединным государством. Купцы довольно отзываются:

— Хороша, хороша дружба!..

Да, это верно. От жалких возниц и грузчиков до самого дзаргучая — все в Маймачене жаждут крепкого дружества с Россией. Оно даст возможность и местным и пришлым беднякам заработать на рис себе и семье, оставленной в Китае.

Сливовый напиток сменяется апельсиновым вином, гостей обносят фруктами, скользкими вареными пряниками, сластями, похожими на пестрые стружки. Наконец можно подняться. Гости выходят на крыльцо, и дзаргучай предлагает перед началом пути зайти в кумирню. Она тут же, напротив дома. Желто-белая пагода внутри ослепляет пестротой стен и яркой росписью потолка. Огромный идол возвышается посредине — бог брани. Жрец обращается к нему с молением о даровании путешественникам благополучия и успехов. Отряд монгольской стражи остановился возле кумирни. Всадники вооружены луком и стрелами. Прильнув к крупу лошадей, монголы с любопытством взирают на тех, кто поручен их защите.

Снова в путь...

Капитан Первушин любит поговорить. Из Маймачена он едет верхом и то и дело подъезжает к архимандриту.

— Дорогу-то как развезло, повозки совсем утонули, — жалуется он, — а воды, замечаете, не видать. Ну и земля!.. Здесь и весной ручейка не приметишь, снег не тает, а куда-то к чорту вдруг исчезает, как слизнул кто-то. И поглядите: едем, едем, а пахоты не встретишь. Одни горы!..

Впереди в прозрачном воздухе все явственней и резче

вырисовывается Синий хребет. Далеко опередив караван, отец Иакинф оглядывается. Здесь все иное, не похожее на то, что окружало в детстве в родном Шинери. Но так же, как над полями и лесами Чувашии, и здесь встает солнце, освещая лучами далекие, недоступные утесы. И такие же облака. Только там, на родине, они, не встречая препятствий, куда-то уплывали, а здесь цепляются за пики гор и повисают, застыв.

Горы, точно не желая расставаться с караваном, вырастают с одной, с другой стороны. «Есть ли имена у этих великанов?» — спрашивает у монгола-лучника отец Иакинф. Но тот не отвечает.

— Ничего вы у этих идолов не добьетесь, — безнадежно вздыхает очутившийся рядом капитан Первушин.

Но отец Иакинф повторяет вопрос. На этот раз шевельнулись сомкнутые губы. Как заученное, шепчет монгол:

— Одо саин медеху угей ноин...

Это много раз слышанные, уже известные слова: «Прости, господин, того хорошенько не знаю». Так здесь приказывают отвечать чужестранцам.

Еще в Иркутске архимандрит начал записывать монгольские и китайские слова. Но пока беден и несовершенен его словарь. С каждым шагом каравана отец Иакинф ощущает свое бессилие понять людей, хозяев этих земель.

Когда караван, перевалив через скалистые уступы, подходит к пастбищам, глазам путников предстают кибитки кочевников. Один, без толмача и проводников, отец Иакинф, спешившись, идет к юртам. Удивленно и настороженно оглядывают женщины диковинного человека. Но чужестранец похож на друга: с недобрыми намерениями не улыбаются так ясно. Он вызывает доверие. Чего он хочет? Его окружают ребятишки в длиннополых выцветших халатах, голые малыши выползают из кибиток, и все, не отрываясь, глядят на незнакомца. Он покупает расположение любопытной ватаги, одаряя сахаром и леденцами.

Под вечер к каравану подходят гости из кочевья. Они заглядывают в юрты путешественников и останавливаются у кибитки ламы. Их приглашают войти. Сам русский лама просит их сесть и велит служке принести мяса и хлеба. Гости берут угощенье в руки и в знак благодарности подносят хлеб ко лбу.

Он должен научиться понимать людей, в страну которых хочет прийти как друг, как близкий. Иначе не понять души народа, не постигнуть его настоящего, не узнать его прошлого.

Караван приближается к Урге — столице Монголии, месту пребывания великого ламы Хутухты, второго по значению и святости жреца Шакьямуни — Будды.

Спешащие на поклон к Хутухте ламы, верхом и пешие, нагоняют караван. Издалека видны их красные плащи и похожие на подсолнухи широкополые яркожелтые шляпы. Желтый цвет здесь знак святости и неприкосновенности. О сохранении и счастье людей и всех сущих тварей ламы дают обет молиться неустанно, неусыпно, с горячностью, с какой печется мать о благополучии своих детей. Молитва всегда на устах служителей Будды. Потому так истово вздымают они к небу костяные четки, в молитвенном шопоте повторяя одни и те же слова:

— Ом-мани-падме-хум!..

Велика вера в силу этой молитвы. Ее читают не только ламы, но и те, кто поручен их заботам. Ее шепчут нищие на всех стоянках, облепляющие караван, скитальцы, бредущие по пустыне в поисках пропитания:

— Ом-мани-падме-хум!..

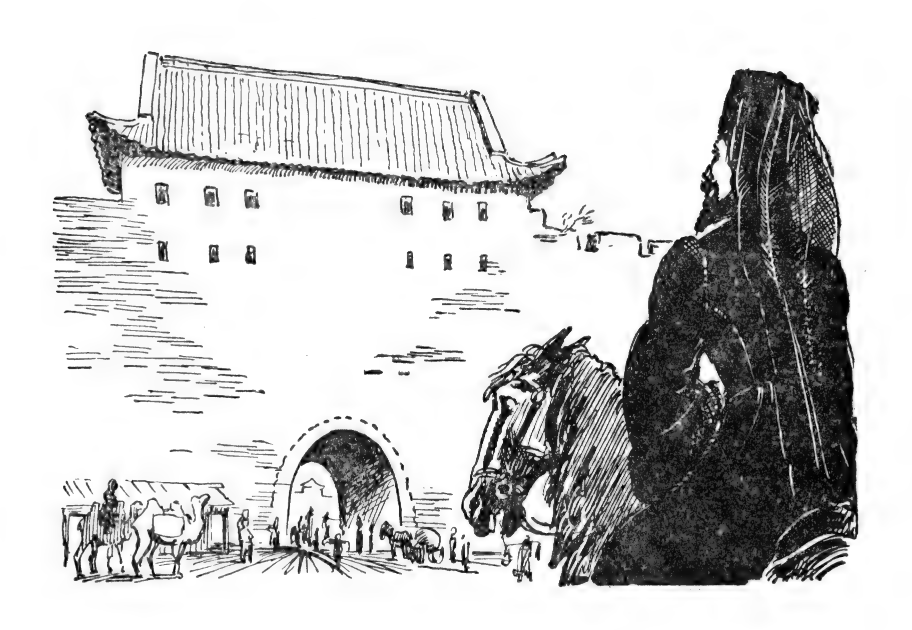
Что означают эти похожие на заклинание слова, которые здесь твердят все?

Православный далама размышлял: не повторяют ли они другую молитву? Она читается по-латыни: «Хом-мани-пема-хум...»

Начало канона несторианской ереси. Почти точное созвучие с молитвой монгольских лам. Какой удивительный путь прошло заклинание, приписываемое Будде — мифическому индийскому царевичу Сиддхартхе, отшельнику из рода Шакья. Возможно, что, возникнув на необозримых пространствах Восточной Азии, оно стало молитвой несторианцев, последователей византийского епископа Нестория, изгнанного из Иисусовой общины, провозглашенного еретиком.

Когда караван духовной миссии останавливался на ночлег и ламы заходили в юрту обогреться и раскурить у очага трубку, православный далама домогался смысла молитвы, и всегда толмач отвечал одно и то же:

— Почитающим Будду неведом и не должен быть ведом смысл священных слов, избавляющих от житейских напастей и злого глаза. Чем чаще повторять их, тем это угоднее Будде. Молитва завещана самим Шакьямуни, он непрестанно повторял ее. В звуках ее заключена волшебная сила, поддерживающая высокий дух людей, ведущая к их совершенствованию. Шакьямуни хочет, чтобы тысячи раз на день произносили верующие хранящую таинственную силу молитву.



На привалах казаки, сопровождавшие караван, затягивали у костра любимые песни:

Не звезда блестит далече в чистом поле,
Курится огонечек малешенек,
У огонечка разостлан шелковый ковер,
На коврике лежит удал добрый молодец...

Казаки уже не удивлялись, что сам архимандрит присаживается к костру и подтягивает баском.

Откуда-то, сначала робко, потом точно притягиваемые песней, подходят монголы.

— Давай, давай! — рявкнул есаул. — Давай к огню!..

Водка, которой русский далама приказывает обнести всех, оживляет людей. Караульные монголы усаживаются в кружок. Самый молодой затягивает высоким сильным голосом длинную печальную ноту. Она отдается в горах и где-то вдалеке долго звучит тяжкой, невыносимой жалобой. Остальные монголы подхватывают песню. Похожая на звуки рвущихся струн, она то обрывается, то вновь несется куда-то в ночь.

Бородатый казак, почтительно привставший перед даламой, бросает крепкое словечко:

— Ишь, дьяволы, как загнули! Чисто за душу хватают...

Заслушался песни и сам архимандрит. Он не замечает, что его плеча касается чья-то рука. Капитан Первушин дав-

но уже у костра. Не следует приставу выпускать из-под хозяйского глаза тех, кто ему вверен.

— Наблюдаете, отец Иакинф? Дети природы, так сказать. Однакоже народ добродушный. А песни ихние как находите? Неплохи... Жалостливы больно!.. О конях поют. Известно, степной народ, без коней куда податься.

Начальник миссии отвечает не сразу. Он как будто бы вслушивается в смолкнувшие звуки. Потом говорит:

— Здесь все иное, все не то, к чему привычны глаза. Только плохо без языка. Пели люди, о чем-то в песне говорили, а о чем, не узнать.

— Стоит ли, отец Иакинф, сокрушаться? Народ дикий, чего о нем узнаешь? Да вы как будто смекать по-ихнему коечто стали... Намедни наблюдал, со стражниками изъяснялись. Зазовите их с толмачом в юрту, табачком, еще кое-чем живительным приманите. Авось разговорятся. Только чтобы бошко подальше был... До чего же не любит здешнее начальство, когда с людьми ихними в беседу вступают!

— Запуганный народ... Я у стражника попытался насчет почты разузнать: существует ли она у них, сообщаются ли аймаки друг с другом? А парень видит, что бошко глядит, и затянул все то же самое: «Одо саин медеху...» А когда бошко отъехал, поравнялся со мной и на ходу бросил: «Не гневайся, далама, не велят болтать начальники...»

Русский далама находит дорогу к сердцам людей, даже тех, которые боятся гнева начальства. На другой день он приглашает пристава к себе в юрту. Отец Иакинф улыбается, не скрывает приятного расположения духа. Это тем более удивительно, что последний переезд был особенно утомителен. Сбившись с тропы, караван долго блуждал, верблюды, оказавшиеся больными, пали. А впереди опасная переправа на плотах через широкую и быструю Иро — одну из самых многоводных и стремительных рек Монгольского ханства.

Но отец Иакинф не хочет говорить о тяготах пути. Он вытаскивает исписанную тетрадку и обращается к капитану:

— А в песнях-то ведь друзья наши не только о конях поют... Каковы законы гостеприимства! Послушайте, Василий Перфильевич, как о своих соседях монголы вспоминают.

Отец Иакинф раскрывает тетрадь и с чувством читает:

— «Младый Церен снаряжается на службу ханскую к российской границе, в караул Менцзинский. Молится он, прощается с отцом и матерью. Плача, жена седлает вороного коня, и вот уже поспешает всадник на север. Безмолвна во-

круг него степь, лишь ветер шумит за спиной, шевеля острые стрелы, да лук постукивает по седлу. Едет младый Церен лесом темным, неведомым, видит горы синие, чужие, незнакомые. Ласка соседей-казаков, храбрых и добрых, иногда покоит его, но мыслями несется он к холмам родного хошуна, видятся ему великие его предки, мудрый и грозный Чингис-хан, о славе которого затягивают песню у скал Онона и на зеленых брегах Херулюна...»

«Какова поэзия! Нет, не дикий народ, который столько мысли и чувства вкладывает в песни. Предвижу, что история его, доселе европейцам неведомая, хранит предания богатейшие».

Василий Перфильевич, будто ненароком заглянувший в записи архимандрита, не без труда разбирает последние строчки. Впрочем, отец Иакинф не скрывает своих мыслей.

— Историю этого народа думаю изучать по собственным их памятникам. Но для сего в совершенстве должен познать язык Монголии и Китая.

Не потому ли на каждом привале можно видеть отца Иакинфа окруженным странниками и нищими? Капитану Первушину приходится примириться с упрямой простотой архимандрита. Но офицеры монгольской охраны — бошко, битхеши и тусулухчай — встревожены: допустимо ли, чтобы духовная особа высокого звания снисходила до всех бродяг и дружески с ними беседовала?

Капитан передает начальнику миссии о тревогах монгольского начальства. Невозмутимо и благодушно отец Иакинф ответствует:

— Передайте начальникам, что любовь к ближним, сирым и нищим является первой заповедью и тех, кто верит в Христа, и тех, кто поклоняется божественности Будды и мудрости Конфуция.

Но не только монголы отмечали пристрастие русского даламы к беседам с простым людом. Отцы Аркадий и Нектарий, совершавшие путь лежа в арбе, заносили в грамотку действия начальника миссии, не забывали упомянуть о его поездках в кочевья и приемах в юрте.

— Милостыней чужих одаривает, а о своих людях не заботится: вином больше одного раза настрого обносить запретил, — злобствует отец Нектарий, стараясь удобней повернуться на своем узком ложе.

Но это не так-то просто. Конями, впряженными в арбу, правят скачущие по бокам всадники. Когда они переходят на галоп, арбу начинает подбрасывать. Качка мучительна, и отцы иереи изощряются в проклятиях. Достается и возницам, и всем этим проклятым местам, и тем, кто заставил

тащиться сюда. Особенно попадает начальнику миссии, по милости которого все они наверняка попадут в еще худшие беды.

Но начальник миссии и не замечает дурного настроения иереев. Он скачет рядом с упряжкой.

— Братие, оглянитесь, места знаменитые проезжаем... Долина Иро, по-русски это — Благословенная, слыхал от туземцев: целительные ключи недалеко... Окунетесь — и духом воспрянете.

Иереи остаются равнодушными. Только когда отец Иакинф предлагает сделать остановку у буддийского храма, они оживляются. Довольные передышкой, стеная, выбираются из арбы.

Сложенный из белых камней храм кажется продолжением крутого утеса. Путешественники карабкаются по невидимой в кустарнике тропе, чуть-чуть расширяющейся перед входом. Внутри храма курятся благовонные свечи. У доходящей до потолка статуи Шакьямуни несколько лам, не оглядываясь на вошедших, шепчут молитву. Руки служителей Будды вытянуты вперед, желтые пальцы водят по раскрытому фолианту, лежащему у ног бронзового кумира.

— Священная книга ганджур, — благоговейно объясняет толмач-монгол в ответ на вопрошающий взгляд архимандрита. — В книге великие таинства, открытые самым верным слугам Будды.

Отец Иакинф вглядывается в знаки, которыми испещрены шелестящие под руками жрецов страницы книги. Тибетский шрифт. Только обученные в Тибете священнослужители понимают его. Остальные лишь послушно повторяют ничего не говорящие им звуки. Для верующих в Монголии молитвы остаются священным заклинанием. Перевести и осмыслить их люди не могут и не должны. Не потому ли так безропотно верят они в святость и силу слов, собранных в ганджуре? Вошедшие с русскими путешественниками монголы отвешивают земные поклоны Будде и шепчут вслед за ламами все те же заклинания.

— Бессмыслица! — вырывается у архимандрита. — Впрочем, не все ли равно: шептать молитвы, даже понимая их, или тешить себя магической силой неведомых звуков?..

Смуглые парнишки в грязных желтых халатах показываются в глубине храма. Неслышно ступая, они на цыпочках приближаются к статуе и прикладываются к ней лбами; но глазами впиваются в архимандрита и его спутников. На лицах ребячье любопытство. Один из читающих ганджуру поднимает голову, и мальчики скрываются.

— Послушники, ученики... При каждом храме воспитывается не меньше сотни детей, будущих жрецов Будды.

«В этой стране, — прикидывает в уме отец Иакинф, — половина жителей жрецы или монахи».

Таков обычай: из двух сыновей одного обязательно посвящают служению богу.

...Храмы, капища то и дело возникают на пути каравана. У подножья гор, на выступах, лепятся часовни. И нет такого холма, пригорка, вершины, где бы ни торчали странной, непонятной формы сооружения.

Что это — пепелища, руины? Если приблизиться к ним, видишь беспорядочные груды камней и мусора. Обо — зовут их монголы. Их создала слепая вера людей, пытающихся любым даянием умилостивить бога. Скачущий по краю пропасти всадник, карабкающийся по круче пешеход в предчувствии грозящей опасности, молясь, сложит вместе несколько камней, и вот уже положено начало обо. Жаждущие отвести от себя гибель не пройдут мимо следов молитвы. Кто-нибудь распластает здесь священный платок. Невелики даяния, но обо растут, превращаясь в заметные издали возвышения.

В покорном страхе приближаются к обо кочевники. Бросив предназначенную богу жертву, люди на секунду останавливаются и, протянув вперед руки, творят молитву. Потом пятятся назад и бредут дальше. Теперь бог оградит их от зла и гибели.

— Чудной народ! — усмехается капитан Первушин, наблюдая, как соскакивают с коней монгольские стражники, торопясь сотворить обряд у встречных обо.

— Человек везде одинаков, — замечает архимандрит. — Поразмыслите, Василий Перфильевич, разве не повсюду на земле извечно стремятся задобрить божество? В суеверном страхе с незапамятных времен возводят люди храмы богам.. Право же, не вижу столь большой разницы меж растущими ввысь кучами мусора и покоящимися в гармоничных пропорциях храмах Зевсу и Аполлону. Народ здешний подобен всем народам. Безропотно покорный перед лицом бога, он жизнелюбив, умеет люто за свою землю сражаться. Поглядите, ничто не страшит наших проводников. Они будто и не чувствуют тягот пути, от которых изнывают наши люди.

Люди и вправду устали. Зной дневных переходов невыносим для непривычных к жаре путешественников, пыль, подобная песочному дождю, затрудняет дыхание. А если после нестерпимого жара ночью ударяют морозы, то и они не приносят облегчения, вызывая болезненную дрожь, лихорадку.

Страшны кручи, перед которыми, хрипя, останавливаются лошади и уныло ревут верблюды. Каждый раз кажется, что смерть несут переправы через горные потоки.

Пригодились отцу Иакинфу уроки рисования, преподанные ему в часы посещений кельи Амвросия Подобедова. Карандаш, владеть которым учил мальчика его покровитель, послушно служил архимандриту в удивительной стране пастбищ, гор и храмов. Живописная и разнообразная натура: странники в лохмотьях, полуголые нищие, пешие и на конях ламы, купцы — хозяева караванов, знатные особы, возвращавшиеся из Урги в свои аймаки.

— Талант, истинный талант!.. — повторял капитан Первушин.

Пристав не поскупился на угощение для встреченного в пути монгола, ехавшего с детьми и слугами. И это только для того, чтобы архимандрит мог изобразить на бумаге семейство богача во всем великолепии туземного наряда. Художник старательно запечатлел в альбоме синие атласные халаты супругов, туго перетянутые поясами. Только у жены халат широко расходился книзу, а у мужа опускался прямыми складками. На богачке еще и телогрейка с пестрой вышивкой. Но главное — сапожки... Нарядные, расшитые золотом или цветным шелком сапожки — первое щегольство монголок.

Труднее достался другой рисунок, который художник считал самым удачным. Не раз пытался он перенести на бумагу облик отважных монгольских наездниц. Но степные Дианы, так звал их капитан Первушин, исчезали внезапно, как и появлялись, едва замечали карандаш в руке чужеземца. Одна как-то задержалась вблизи каравана. С детским простодушием всадница оглядывала людей в незнакомой одежде.

— Да она совсем девочка! Сколько ей лет — четырнадцать, пятнадцать?..

Кого напоминала эта смуглянка, являвшая прекрасный образец красоты монгольских женщин? У кого помнит отец Иакинф такое же милое лукавство в косо поставленных глазах-угольках?.. И точно от жара костра пылающий румянец... Конечно, у Альчи, подруги его детства, самой проказливой девчонки в Шинери. Ее черты как будто повторяет эта монгольская девчонка, смело и ловко сидящая на коне.

Хотелось спросить, как ее зовут, но она уже горячила коня, и, казалось, вот-вот он взметнется и исчезнет в облаке пыли. Все же любопытство заставило ее задержаться. «Каким колдовством занимается чужестранец?» — спрашивали ее глаза.

Неожиданно из степи вылетели всадники. Они что-то крикнули девушке, и один схватил за узду ее коня.

Наездница гикнула, подарила последней улыбкой и навсегда скрылась за холмами, где раскинулось кочевье... Но в альбоме остался рисунок, на который не раз с нежностью взглядывал художник.

...Урга совсем близко. Ламы встречались теперь толпами. Шли на поклон к великому Хутухте. Туда же двигались толпы богомольцев, странствующих торговцев, кочевников на лошадях.

Вот она, наконец, столица Монголии!

Глава седьмая

— Архан, сан-байна, не спеши так, прохожий, освежись айриком!..

— Эй, остановись, наин!.. Ты, видно, не хочешь достичь нирваны. Попробуй эту хара-айрики, крепче не найдешь, хоть обойди весь базар.

— Кто станет хозяином этих собак, может спать от зари до зари: они сохранят ему скот и детей!..

— Не торгуйся, старик, я бы никогда не расстался с ними и охотней бы продал жену, если б имел ее, верь мне! Погляди на эту суку, ластится к тебе, как будто угадала хозяина. А ты жалеешь отдать за нее несколько штук чая.

На ургинском базаре говорят по-монгольски, по-китайски, по-маньчжурски, можно услышать и русскую речь. Хотя ее одинаково коверкают и китайские и русские купцы, они понимают друг друга, выкрикивая цену и восхваляя товар.

Кричать здесь приходится всем. Лай, рев, мычанье и клекот живого товара — собак, верблюдов, быков, беркутов — делает ургинское торжище похожим на скотный двор. Но животные не могут заглушить зазываний продавцов: их здесь не меньше, чем покупателей. Они ходят, сидят, стоят на земле, выглядывают из войлочных палаток, превозносят сваленную утварь, ткани, кожи, коровьи и бараньи туши, оружие, ножи всех форм и размеров.

Люди бредут, натыкаясь на быков, перескакивая через овец и баранов, отбиваясь от голодных, надрывно лающих собак. Чтобы пробраться сквозь скопление людей и животных, надо обладать немалой ловкостью.

— Остановитесь, отец, дальше все равно не пробраться, — говорит по-русски человек в монгольском халате, в надвинутой на лоб меховой шапке.

Его спутник, в таком же одеянии, не слушая, старается пройти между лежащими на земле верблюдами, которые, подняв морды, тоскливо глядят в небо.

— Идем, идем, Василий. Смотри, у палатки расплачиваются серебром. Видно, не только чай здесь идет за монету.

Яфитский, — он с утра вместе с отцом Иакинфом толчется на этом вонючем ургинском торжище, — догоняет преосвященного.

Неукротим архимандрит в желании узнать людей и обычаи. Как беспечный зевака втискивается в толпу любопытных, стеной окруживших развалившегося на низкой скамейке китайского купца в нарядном кафтане. Из-под соломенной шляпы торчит черная блестящая коса. Двое слуг отталкивают любопытных, двое сосредоточенно отсчитывают серебро из кожаного мешочка. Зеваки впиваются глазами в блестящие белые плитки. Еще бы, не так часто увидишь, чтобы за купленное расплачивались звонкой монетой! В Урге, как и по всей Монголии, ее заменяют плитки зеленого чая. За чай в Урге стригут и бреют, кормят вареной бараниной и угощают айриком. За плитки чая погонщики верблюдов стараются сбыть самых дряхлых и немощных животных путешественникам, спешащим пересечь пустыню.

Пробираясь в толпе, отец Иакинф делится наблюдениями:

— Монголы-то одним скотом да собаками торгуют. Остальной товар у китайцев... А в чалме-то индус... Тоже торг с кочевником ведет... Истинно, не религия, а коммерция сближает людей.

— Отец Иакинф, не пора ли в подворье? К мандаринам отправляться после полудня...

Хотя Яфитский и хлебнул на базаре немалую толику горячей монгольской водки, которую здесь хитрым способом гонят из кобыльего молока, он не теряет головы. Да, пора вернуться в православное подворье, где остановилась миссия. Но отец Иакинф ничего не слышит.

Возможно ли быть столь беспечным?! У ургинского вана, губернатора монгольской столицы, сегодня прием в честь русской миссии, а глава ее, пробираясь от ряда к ряду, толчется по базару!

Уж не пьян ли архимандрит? Да нет, он едва пригубил эту горькую молочную водку, которая сбивает с ног, как и пшеничная. Не водка заставляет архимандрита пренебрегать делами церкви, хотя иереи плетут невесть что о беспечности отца Иакинфа. Все примечают отцы Аркадий и Серафим и пишут, пишут... Меж собой зовут богохульником,

говорят, что лишний раз лба не перекрестит. Да то и верно, не видал Яфитский, чтобы крестился архимандрит или сотворил молитву. Не одними божественными помыслами, видно, занят он. Зачем бы иначе интересовался так этим торжищем?

Вот и бродят они спозаранку. Базар как базар, и хотя не поймешь, о чем так истошно кричат местные люди, видать, обманывают друг друга, как и на московской Сухаревке, где не раз бывал Василий Яфитский.

Архимандрит не знает усталости. Который раз пересекает окутанную облаком пыли базарную площадь, с любопытством застывает у каждой палатки, разглядывает людей и товары, прислушивается к отрывистой речи.

Наконец отец Иакинф покидает торжище. Маловнушителен вид монгольской столицы. На уличках не разъехаться и двум всадникам. Приткнутые друг к другу глиняные домишки и обведенные глиняной оградой юрты... Шныряют грязные ребятишки, спешит озабоченная своим хозяйством монголка. И только ламы толпятся на перекрестках, перебирая четки, шепча свою молитву. Над скопищем бедных жилищ поднимаются храмы. Их не миновать. Отовсюду заметны их выгнутые крыши, обведенные сверкающей на солнце решеткой со священными украшениями. Между храмами дворец Хутухты и монастырь, где обучается множество будущих служителей Будды.

У владений Хутухты шумно, как на базаре. Ламы совершают шествие вокруг храмов. Ежедневно, в один и тот же час, гремя бубнами, дуя в рога, кружат они с толпой верующих.

— Совсем как наш крестный ход! — говорит отец Иакинф, готовый присоединиться к толпе.

Яфитскому сравнение кажется богохульством. Безбожник он все-таки, архимандрит Бичурин, хоть и непонятно добр! Василию вдруг делается не по себе.

— Уйдемте, отец Иакинф! Неровен час, дознаются идолопоклонники, кто мы такие. Пожалуй, не сдобровать тогда...

— Не бойся, народ здесь безобиден.

— Не опоздать бы к мандаринам...

В самом деле, надо спешить на церемонию к ургинскому вану, посланцы которого с немалыми почестями встретили миссию.

...Выезд к вану совершается и пышно и богато: надо убедить в силе и могуществе православной церкви, служителей которых вызывает в свою столицу Сын Неба.

Зевакам есть на что полюбоваться. Недаром толпятся они

у подворья, не обращая внимания на плети, которыми ургинские полицейские разгоняют особенно назойливых. Толпа вдруг расступается. Из подворья на белых конях вылетают казаки. За ними в повозках духовные лица, во главе с архимандритом. Миссию провожает почетный караул монгольских воинов в атласных кафтанах с алыми лентами на остроконечных шляпах.

У губернаторского дома — отряд телохранителей. Подняв тесаки, воины застывают перед архимандритом. Младший амбань ведет миссионеров в парадные покои. Широкие решетчатые окна заклеены белой бумагой, стены обтянуты шелком, повсюду изображения Будды. Вазы и лакированные шкатулки расставлены на низких столиках и, неожиданно, в углу высокие с золотым маятником часы английской работы.

Ван Урги Юньдень Дорцзи приподнимается с кресла, приветствуя гостей. Толмач переводит, что ван счастлив видеть русского даламу в добром здравии.

— Юньдень Дорцзи сделает все, чтобы помочь миссионерам поскорей добраться до Пекина. Русского даламу ждут не только как служителя православной церкви, но и как посланца дружественной державы.

Ургинский ван спешит загладить ошибку, которая ему недешево стоила. Он слишком затянул петлю, принимая в этих покоях русского посла графа Головкина.

На протяжении своей дипломатической карьеры Юньдень встречался с европейцами, но то были голландцы, португальцы, французы. Вот почему он поверил иезуитам, которые изображали русских совсем иначе, чем это оказалось в действительности. Но главное, что погубило Юньденя, — это его близость с Макартнем — послом Великобритании. В беседах с молодым Дорцзи англичанин преувеличивал могущество своей родины. Юньдень решил, что она в самом деле превосходит в силе остальные державы Европы. Сидя в Урге, он отстал от событий. Ему не успели донести о том, о чем давно шепчутся придворные богдыхана: русский царь уступает в могуществе только Сыну Неба.

Первый князь Монголии Юньдень Дорцзи, прямой потомок Чингис-хана, министр богдыхана, женатый на принцессе из царствующего дома, лишен титула и подвергнут опале. Сын Неба вызывал его и бросил слова недовольства. И все потому, что Юньдень во-время не понял, на чьей стороне сила, чья дружба ценится дороже при дворе владыки Срединного государства.

Но не прочесть мыслей Юньденя, а улыбка его любезна и внушает доверие. Если ургинского вана переодеть в европейский костюм и сбрить косу, в нем не признать потомка монгольских завоевателей: прямой нос, вовсе не смуглый цвет кожи. Только косо поставленные глаза обличают происхождение Юньденя Дорцзи. Он высок ростом и, хотя ему около шестидесяти лет, легок в движениях и скорей кажется братом, нежели отцом своих взрослых сыновей, стоящих по бокам его кресла. Присутствие наследников вана — еще одно свидетельство милостивого расположения правителя Урги к русским.

В девятнадцатом веке дипломатические встречи на Востоке начинаются так же, как в пятнадцатом — с подношения «просительных поминок». Юньдень Дорцзи, известный приверженностью к европейским новшествам, — самый богатый человек в своей стране. Кроме доходов с подвластного ему хошуна, он получает жалованье от Пекинского двора — серебром, шелками и чаем. Но он с жадным любопытством разглядывает подарки, которые вносят казаки. На полу и на столах выстраиваются хрустальные графины, граненые, с резьбой подсвечники, юфть, зрительная труба в дорогом футляре и, наконец, замысловатой чеканки пистолеты, которые Дорцзи, не скрывая восхищения, долго внимательно разглядывает. Чтобы сделать удовольствие полнее, капитан подвигает к ногам вана баульчик, наполненный порохом.

Одарены и сыновья Дорцзи. Перед ними кладут свертки красного сукна, бронзовые табакерки, серебряные ложки,

ножницы, флаконы с духами и даже банки душистой помады.

Довольны все, кто присутствует на встрече, все по старшинству и чину получают свою долю.

Можно ли сомневаться в добрых намерениях вана и его приближенных? Отложив, наконец, пистолеты, Юньдень изъясняется в приязни к русскому царю. Разве он, ургинский ван, не понимает значения дружества, которое вот уже два столетия связывает Россию с Монголией и Китаем! Переводя эти слова вана, толмач представляет русскому даламе Дзарохчи Харцугая — чиновника, который будет служить посредником между властями Урги и начальником православной миссии. Ван хочет угодить русским. Дзарохчи Харцугай — потомок хана Тулишеня, посла императора Канси к русскому царю Петру Первому.

Дзарохчи Харцугай гордится родством с первым китайским послом в России. Он не перестает радостно улыбаться, пока толмач перечисляет его родственные связи с теми, кто завещал потомкам хранить дружбу с великим русским соседом. Когда наступает черед Дзарохчи вступить в беседу, он, поклонившись, сообщает, что его прадед описал свое путешествие по России. Написанная по-маньчжурски, эта книга объясняет устройство правления Российской империи, рассказывает про обычаи россиян, описывает богатство их земель и промыслов и заключается мыслями о пользе торговых сношений с Москвой. Книга хранится в доме Харцугая, и если православный далама желает перелистать ее страницы, это будет счастьем для всех потомков хана Тулишеня.

Архимандрит благодарит вана за удачный выбор родовитой особы в помощь миссии. Он выражает благодарность и самому Дзарохчи Харцугаю. Конечно, русский далама будет счастлив взглянуть на замечательную книгу, которую знает в переводе уже умершего ученого Леонтьева.

Удачный поворот в беседе. Именно о книгах хотелось заговорить православному даламе. Существуют ли они на монгольском языке? Юньдень Дорцзи доволен вопросом. Он не только первый князь Монголии — его называют самым образованным человеком страны. Он сочиняет стихи, правда, как принято у монгольской знати, он пишет по-китайски, но не чуждается и родной письменности. История Монголии хранится в китайских летописях. Но и в Алтан Тобчи — Золотой книге, написанной по-монгольски, увековечена история предков Чингис-хана. Книга начинается с повести о том, как появился на свет рожденный от серого волка и пестрой лани праотец монголов, от которого произошел завоеватель мира, прозванный Чингис-ханом.

Юньдень Дорцзи хочет, чтоб русские знали, какой он просвещенный правитель. Он стремится сделать доступными для своих подданных священные писания буддистских вероучителей. Тибетские тексты, по его приказанию, переводятся и печатаются монгольскими письменами, ламы будут читать ганджур на родном языке. Да позволит русский далама преподнести ему монгольский оттиск святого писания буддистов... На этом беседа закончена, и толмач переводит последнее приветствие вана главе русской миссии.

Хотя ван Юньдень торжественно обещал помочь миссии скорее добраться до Пекина, капитану Первушину приходится долго и длинно убеждать дзаргучая, что без свежих верблюдов и новых повозок караван не может вступить в пески Гоби. Дзаргучай знает это лучше капитана, но, расплываясь в улыбке, притворяется, что до чрезвычайности удивлен настойчивостью русского начальника.

Но вот новые повозки и верблюды, которые, как это выяснилось уже в пути, были самыми заморенными животными в Урге, стоят у ворот подворья. Прощай, столица Монгольского ханства! Православная духовная миссия готова пересечь пустыню, отделяющую Ургу от Великой Китайской стены. Люди вдосталь пьют свежую воду из Толы, на берегу которой стоит Урга. До самых ворот в Китай больше не встретится ни одной реки.

От Урги едут берегом. Придержав лошадь, отец Иакинф оглядывается. Сзади остаются обнаженные камни гор, среди которых, дальше всех видная, торчит верхушка Хан-олы. На ее склонах каждые три года выборные от аймаков собираются для переписи соотечественников. Но вот исчезает и Хан-ола, в желтых ущельях скрылась Тола.

Караван переваливает через невысокий холм. Отсюда начинается Гоби — безводная равнина Монголии, где не раз находили гибель двигавшиеся к Великой стене кочевники.

На пути каравана уже не видно зеленых пастбищ. Ни кустика, ни травинки. Скот, который бредет с караваном, напрасно тычется мордами в землю. Только мелкий щебень да песок хрустят под ногами животных.

Но пустыня не мертва. Гоби — владение халхасов. Они движутся по бесплодной, нищей земле своих отцов. Уже у первого колодца караван встречает кочевье — несколько ветхих, грязных, низеньких юрт. Собаки, такие тощие и голодные, что даже не лают, бродят вокруг. Из-за рваных покрывал выглядывают женщины. Тяжко смотреть на их болезненно худые, измученные лица. С десяток ребятишек —

маленьких скелетов, обтянутых коричневой кожей, выползают из юрт. У детей голодные, молящие глаза, — не надо переводить их просьб. Как птенцы в гнезде, глотают они хлеб, которым отец Иакинф приказывает оделить ребят.

Гоби — страна лишений для людей, невыносимых страданий для животных. Когда кочевники, разбивая становище, разгружают верблюдов — не отогнать набежавших собак. В голодном исступлении они лижут седла, пропитанные кровью натертых до костей спин несчастных, тощих верблюдов.

Но и в стране песка и камней послушны люди служителям Будды. Торчащие по пути обо и здесь напоминают о молитве, — пусть не забудет произнести ее путник! Нет колодца, где бы у кумирни не толпились ламы, перебирая четки. Правда, их желтые плащи ветхи и потеряли яркость, но сами священнослужители не кажутся страдающими от голода и жажды.

Путь каравана тот же, по которому со своими ордами двигался Чингис-хан, угрожая династии китайских владык. Векам не стереть его следов. Копыта чингисхановых скакунов попирали камни, и сейчас рассыпанные по пути каравана.

— Вон там, — переводит толмач слова дзаргучая, — развалины кузницы великого завоевателя. В ней ковалось оружие, блеск которого заставлял отступать самих демонов.

Путник, забредший в сердце Гоби, всегда помнит о смерти, которая в пустыне ближе к человеку, чем где бы то ни было. О ней напоминают скелеты людей и животных, которые то и дело встречает караван.

Ничто не может изменить законов пустыни. Томясь жаждой, изнемогая от раскаленного воздуха, движутся путники. Не приносит покоя им отдых у колодцев. Грязная, соленая вода, погонщики, отгоняющие ревущих верблюдов, жалобное мычание скота, которому не дают напиться вволю; ни деревца, ни тени — ничего, кроме реденькой, тощей травы. Таковы оазисы Гоби.

И вдруг — трудно представить, как это происходит, — глаза путников обнаруживают, что обочины дороги делаются зелеными, а почва под ногами животных — глинистой. Вон и ящерицы уже перебегают дорогу, и нет-нет, да и мелькнут то розовато-белые, то бледножелтые лепестки степных цветов.

Неужели страшная Гоби осталась позади? Караван движется дорогой, обросшей зеленой травой, торчат стебельки гречихи, конопли, овса. А вот и дикие козы, напуганные людьми, срываются с места и несутся, едва касаясь земли.

Зелень становится ярче, цветы всех красок и оттенков рассыпаны по траве. Но путешественники так измучены, что им становится страшно: не мираж ли это, не потянется ли за сочными лугами опять оголенная, выжженная земля? Нет, это не мираж — пустыня кончилась.

У дороги расстилается сверкающая синевой водяная поверхность. Озеро, и за ним другое. Монголы зовут их Цаган-Нор — Родные братья. Воды все больше на пути каравана. Небольшие озерца, болотистые ложбины, над которыми, перекликаясь, взмывают стаи чибисов.

Наконец наступает день, когда перед караваном вырастает холмистая гряда, на гребне которой вырисовываются смутные очертания. Глаза различают зубчатую башню, такую же зубчатую, полуразрушенную стену. Это Великая Китайская стена, которая уходит вдаль к вершинам и, извиваясь подобно дракону, как будто кончается в облаках.

Стена пересекает кряж и опускается к Ляодунскому заливу. Здесь, у берега Желтого моря, ее начало. Отсюда, от зубца к зубцу, от башни к башне, кружится и петляет она на протяжении почти четырех тысяч верст, громоздясь на неприступных вершинах, опускаясь в равнины, и, рассекая несколько провинций, обрывается в песках Гань-Чжоу.

Великий памятник народа. Две тысячи лет назад соорудили его подданные богдыхана Циньской династии Ши Хуанди.

Отец Иакинф сходит с коня. Ему хочется остаться одному. С трудом, карабкаясь, взбирается он к подножью башни. Холодный ветер с гор врывается в бойницы. Каких только событий не были они свидетелями! Но сейчас бойницы глядят беспомощно и мертво. По источенным временем камням отец Иакинф поднимается выше и выше. Нет, не изобразить художнику того, что предстает отсюда взору. Как будто вся страна, охраняемая стеной, видна путешественнику. Ущелья, русла рек, горные склоны с рассеянными в каком-то удивительном порядке селеньями, окутанными зелеными рощами, окруженными разноцветными пашнями, сверкающие на солнце озера, ниточки дорог, по которым движутся едва различимые отсюда люди.

Завтра он будет среди них. Цель, к которой он так стремился, достигнута...

Глава восьмая

«Первое новолуние нового, 1808 года в час сэ — змеи, а по-нашему одиннадцать часов пополудни...»

Гусиное перо заскрипело, и он почистил его в перочистке-бочонке, стоявшем на корме бронзового кораблика рядом с бочонками, наполненными чернилами и сухим мелким песком. Подаренный Саблуковым при отъезде из Казани, этот кораблик побывал в Иркутске, в Тобольске, затем снова в Иркутске, наконец вместе с главой российской духовной миссии попал в Пекин.

Впечатления дня, все, что видели глаза, слышали уши, все, что замечали сердце и ум, отмечалось в толстой тетради.

Перо бежало по бумаге:

«...Вот уже почти год я в Срединном государстве. А что стало мне ведомо о людях Чжунго? Неужели и для меня, как и для иных чужеземцев, она останется землей неизвестной — terra incognita?

Китай — символ застоя, косности, неподвижности! Нет, лишь невежество могло родить столь нелепое воззрение!

Миссионеры католические и протестантские, братья Ордена иезуитов, францисканцы, бенедиктинцы — первооткрыватели Поднебесной империи. Люди с крестом в одной руке, аршином в другой рисуют Китай черными красками. Это льстит Европе, и даже ее лучшие ученые представляют Срединное государство в самом темном свете.

Некий гейдельбергский профессор в своей многотомной «Всеобщей истории мира» минувшие судьбы Китая за четыре тысячи лет ухитрился изложить в нескольких строчках. Не хотел ли ученый этим умалить значение великого народа?

Или у народа Чжунго нет историографии, и потому его древняя жизнь не оставила следа? Нет, не всякий народ может гордиться тем, что обладает летописями, начатыми еще в 841 году до рождества Христова. А по существу историческая наука зародилась здесь уже при основании империи и свидетельствует о событиях — подумать только! — сорока двух веков.

В незапамятные времена в Срединном государстве сложилась письменность. Здесь свои обычаи, своя культура. За тысячу лет до европейцев китаец Цай Лунь постиг искусство приготовления бумаги из тряпья и древесной коры. Уже в одиннадцатом веке другой китаец, Би Шэн, на пятьсот лет ранее прославленного Иоганна Гутенберга, изобрел подвижный шрифт для книгопечатания. Матрицы с его шрифтом, сделанным из фарфора, хранятся в монастырях. Потому и ныне возможно печатать старинные книги, в точности повторяя первоиздания.

На столе передо мной первая в мире газета — «Цзин бао», «Столичный вестник», — она выходит в Пекине уже в течение многих веков.

А компас — кусок дерева с выдолбленным в нем отверстием для воды, в которой плавает на деревянной подкладке магнитная игла — это изобретение простое, как все гениальное, было сделано китайцами за несколько столетий до рождества Христова.

А порох, который они первыми в истории человечества изобрели и притом для самой мирной и веселой цели — фейерверков.

А что Земля круглая, в Срединном государстве знали за тысячу лет до Коперника».

Стук в дверь заставил оторваться от записок, отозваться досадливо:

— Кто там?

— Это я, отец Иакинф! Сяньшэн...

— А... Алексей. Входи, входи...

Сяньшэн, преждерожденный, — так называют учителей. Но вошедший был воин. На боку у него висела шашка, в руке болталась нагайка. У сяньшэна было желтовато-смуглое лицо, косой разрез глаз и тонкий прямой нос, выдававший потомка албазинских казаков. Черная длинная коса с привязанным к ней веером свисала с выбритой головы телохранителя богдыхана.

Албазинец перекрестился на иконы в переднем углу и, сообразно столичному этикету, отвесил низкий поклон.

Лукавые искорки блеснули в глазах главы духовной мис-

сии. Грешным делом любил он поозорничать с людьми, которые были ему по сердцу.

— Экой ты церемонный казак! А я поприветствую тебя, нехристя, аки простолюдин пекинский, — он поднял к груди обе руки и, быстро перебирая пальцами, вопросил:

— Как поживаете?

Алексей также поднял руки и, также перебирая пальцами, любезно ответствовал:

— Благодаря изобилию вашего счастья... Хорошо, очень хорошо.

Отец Иакинф помолчал, лицо его стало серьезным.

— Однако, братец, приступим к делу! Рисуй письменные знаки, какие ведаешь, хотя, сказать честно, в премудрости иероглифики ты не задался.

Он протянул кисточку из соболиного волоса, плитку черной туши, грифельную плитку для ее растирания и серые листы бумаги из волокон бамбука.

— Поистине ценят китайцы просвещение, коли зовут сии предметы письма драгоценными.

Потомок албазинских казаков смаху клинком шашки разрубал барана пополам. Но тоненькая кисть дрожала в его узловатых пальцах, когда он выводил на бумаге столбики неровных знаков. Да, грамота не давалась воину! А где найти в Пекине другого учителя, знающего по-русски и по-китайски? С натугой Алексей объяснял:

— Изображаю две ноги и туловище, сие обозначает — человек. Ежели знак повторить дважды, — суть люди... А вот ствол с ветками по сторонам, сие знак — дерево. Два рядом дерева — суть лес... А вот ежели изобразим три уступа ввысь, получится знак — гора. Присовокупим одного человека к горе, ясно-понятно: отшельник.

Зато ученик был сметлив. В малоискусных объяснениях сяньшэна он постигал нужное и в своих записях обобщал основы китайских письмен.

«...иероглифы делятся на шесть разделов — лю-шу. Первый раздел — графическое изображение предметов, кои с течением времени утратили даже отдаленное сходство с изображаемым предметом. Пример: иероглиф — человек, лишь весьма малое сходство имеющий с двуногим существом.

Второй раздел иероглифов — составные символы, выражающие легко уловимую мысль. Пример: два рядом человека — суть люди. А сто людей под одной крышей — знак гостиницы.

В третьем разделе более сложные символы...»

О них сейчас толковал Алексей:

— Рисую рот, рядом собаку — означает лаять. А вот

женщина и метла вместе имеют смысл — хозяйка. Но ежели две женщины рядом, ясно-понятно — ссора...

Ученик спешил записать: «В третьем разделе находятся иероглифы, передающие отвлеченные понятия. Пример: поднятая рука означает воздавать, подыматься, а рука опущенная — значит нисходить, спускаться».

В окно донесся низкий медный гул: то ударили в большой колокол Сретенской церкви духовной миссии. Переливами зазвенели вдогонку малые колокола. Началась обедня, которую лениво, когда заблагорассудится, служил отец Серафим в обычно пустой церкви русского подворья.

Алексей перекрестился, вздохнул и обмахнулся привязанным к косе веером: наука утомляла его.

Ничего не слыша и не замечая, глава духовной миссии продолжал торопливые строки записей:

«Необходимо знать не менее пяти тысяч иероглифов, а для свободного чтения книг следует знать в два раза более».

— Алексей, а ты сам сколько вытвердил письменных знаков?

Вопрос застал врасплох. Веер замелькал быстрее, охлаждая лоб с выступившими на нем капельками пота.

— Грамоту осиливал с трудом... В науках не превзошел... Не смею более учить вас, отец Иакинф, увольте! Прошу: найдите достойного...

Но архимандрит не слышал молящего голоса, опять склонился над тетрадью, спеша занести в нее все, что постиг сегодня и накануне, не гнушаясь по крупицам собирать знания в случайных беседах с пекинскими жителями.

Солнце уже было высоко. Стрелки на часах встретились у цифры шесть: настал час овцы — ян. Отец Иакинф прислонил гусиное перо к мачте бронзового кораблика, бережно сложил «четыре драгоценных предмета» и обратился к преждерожденному:

— «Учиться — это грести против течения, и лишь перестанешь — тебя унесет назад». Не так ли сказал великий Кун-цзы?

Веер замер, сяньшэн почтительно слушал.

— Он же, великий Кун-цзы, утверждал: «Судьба ученика — в книге», однако говорил: «Глубокие и трудные размышления не должны быть долговременны». Потому закроем книги премудрости и предадимся отдыху. Как полагаешь, не совершить ли прогулку?

— Пора, давно пора! — Алексей с облегчением выпрямился, поправил шашку и выжидательно поглядел на ученика.

— Сейчас, друг, сейчас! Не тревожься, не задержу... — Отец Иакинф сложил тетради с записями, убрал в ящик сто-

ла «четыре драгоценных предмета» и скрылся в соседней комнате. Когда он снова появился, Алексей довольно улыбнулся:

— Ладно у вас получается! И не подумать, что чужестранец... Чистый китаец!

Рядом с воином богдыхана стоял обычный пекинский житель. Прохожие приняли бы его за мелкого чиновника, учителя.

— Не лукавишь, казак? Как, пристала мне эта синяя курма? Нынче другую надел. А маоцзы? Так ли на голове сидит? — Он дотронулся до островерхой шляпы, с которой свисала шелковая красная кисть.

— Все как полагается, отец Иакинф! — подтвердил албазинец.

— А в этих сецзы, — отец Иакинф притопнул мягкими башмаками на толстой бумажной подошве, — точно по ковру ступаешь. Так, говоришь, как обыватель столичный?.. Что ж, побродим...

Они вышли на улицу и зашагали рядом.

— Постигая, все более дивлюсь... Достойны похвалы обычаи и воззрения здешние... — Отец Иакинф говорил, и спутник его согласно склонял голову. Воин богдыхана родился в Пекине. Подобно всем людям, не сомневался он, что нет лучше места на земле, нежели родина. Велико и обширно его отечество. Отец Алексея Петр Мукундов вместе с другими албазинцами пролил свою кровь, защищая Срединное государство от врагов.

В доме Алексея среди таблиц с именами предков хранилась родовая книга. Столетиями вписываются в эту книгу имена родичей, к поколению которых принадлежит его мать Сы-хуа — Светлый цветок. Деды и прадеды ее жили и умирали в Пекине. Как же не гордиться такими предками? Ведь еще за двенадцать веков до христианской эры предки этих предков создали город, обширностью и богатством превосходящий все города в мире. Если шагать от зари до зари, то и тогда не обойти улиц и площадей, опоясанных земляными валами, крепостными стенами, глубокими рвами. Стена из тесаных камней проходит внутри столицы, деля ее на две части: Внешний и Внутренний, а в нем еще один — Запретный город.

Запретным городом называют обиталище китайских владык, никто из простых смертных не смеет ступить в богдыхановы владения. Это город императоров. В южной части его за рвами, наполненными водой, за неприступными стенами высится сказочно прекрасный дворец самого хуанди — Сына Неба.

Густые акации, заросли можжевельника, ивы, глядящие в воду прудов и каналов, встречают путника у ворот Внешнего города. Друг над другом поднимаются три обширных плоских холма, а на вершине их стоит храм Неба, сверкающий голубой глазурью крыши. Напротив него громада храма Земледелия, увенчанного блестящей кровлей из зеленых черепиц.

Аллеи под стенами Внешнего города — любимое место прогулок столичных жителей. Богачи и франты щеголяют здесь своими нарядами, кичатся канарейками и соловьями, которых носят в золоченых клетках.

Воин богдыхана, как и другие обыватели столицы, не раз любовался изысканными манерами щеголей, держащих в левой руке клетку с птицами. Отец Иакинф уверял, что у него на родине нет такого обычая. Правда, там гордятся умением водить на привязи собак, но можно ли этим удивить? Да и стоит ли прогуливаться с животными, которых в Пекине чаще всего можно встретить роющимися в кучах мусора и отбросов? Собаки тем и полезны, что очищают городские свалки.

Как учтивый человек, Алексей не смеялся над обычаями других людей. Однако про себя удивлялся многому из того, о чем рассказывал архимандрит. Когда Алексей переводил надписи на памятных воротах, которые воздвигнуты на многих улицах Пекина в честь добродетельных жителей, отец Иакинф заметил, что памятники на его родине устанавливают на кладбище, на могилах умерших. Странно! Зачем итти на кладбище, если хочешь узнать, чем прославился человек, живший на этой улице? Был ли он сыном, самоотверженно преданным памяти родителей, воином, который предпочел смерть сдаче врагу, или это нежная супруга, после смерти мужа лишившая себя жизни, верная невеста, которая, потеряв любимого человека, покончила с собой? Немало подданных богдыхана обессмертили себя благородными поступками. Благодарные потомки воздвигают им памятники на улицах и перекрестках. Пусть прохожие люди подражают их доблести.

Куда сегодня намерен отправиться архимандрит? Вежливость удержала Алексея от вопроса. Обычно глава миссии любил бродить по улице Вечного покоя. Но не следует думать, что его влекло туда желание насладиться тишиной. На улице Вечного покоя не смолкал шум. Это торговый многолюдный перекресток. Весь день здесь слышны крики прохожих, гудят гонги, рвутся хлопушки, которыми зазывают покупателей хозяева лавок и торговцы победнее, расположившиеся с товаром прямо на земле.

— Веди, где многолюдней, — потребовал отец Иакинф. — Где люди — там жизнь. То мне и надобно.

Они шли по улице Дунцзи миссиян, где находилось русское подворье. Горбатый мост, хотя и названный Яшмовым, но сделанный из простого камня, перевел их через грязную канаву.

— Узнаю улицу Каменных тигров, — обходя заморенного котенка, сказал архимандрит, — несчастных сородичей грозных зверей нигде больше не встретишь в таком множестве.

Зато улица Счастливых воробьев оправдывала свое название. Здесь воробьи носились тучей; они облепляли кучи мусора и, не пугаясь прохожих, лакомились отбросами, громко чирикая.

Иногда архимандрит останавливался, разбирал выведенные золотом надписи на вывесках лавок и на деревянных табличках уличных перекрестков.

— Улица Черных драконов, ворота Изящного слога, улица Пяти духов, — помогал Алексей разбирать незнакомые иероглифы.

Предостерегающий окрик заставил путников обернуться. Рядом двигался расшитый паланкин с плотно прикрытыми занавесками. Важную особу, наверно, несли издалека. Носильщики шли согнувшись; слышно было, как оба часто, тяжело дышали. Передний, покачнувшись, остановился, второй, стараясь показать, что он вовсе не устал, улыбнулся, но тоже опустил на землю носилки. Оба молча, не больше минуты, посидели на корточках и, выпрямившись, опять зашагали со своей тяжелой ношей.

Воин богдыхана задержал спутника у ворот, где толпа скопилась особенно густо. Как шум прибоя, доносился разноголосый гул. А сверху слышались странные, но приятные звуки. Отец Иакинф поднял голову и проследил взглядом стаю голубей.

— Хороша музыка! — сказал он. — И у нас турманов гоняют, а не додумались к их лапкам свистульки привязывать.

Шум за воротами нарастал. Казалось, там происходило что-то заманчивое, влекущее молодых и старых, женщин, мужчин и детей. К воротам спешили богато одетые прохожие, шли нищие, бродяги и крестьяне, которых легко было узнать по босым ногам, по грубой, запыленной одежде.

— Посетим и мы богиню Высшей справедливости, — предложил архимандрит своему спутнику.

Они вступили в храмовый двор. Щедрой, видно, была любовь почитателей богини, если отвели ей столько земли,

дорого ценившейся в столице. Обширный двор заполняли люди, которые под божественной сенью занимались обычными делами: покупали, продавали, брились, закусывали, пили, играли в карты, отдыхали.

Искусные руки бродячих ремесленников и тут не оставались без дела. Расположившись прямо на земле, они чинили обувь, мастерили игрушки, веера, украшения.

Архимандрит остановился около немолодого человека с круглым добродушным лицом. Тонкой кисточкой он наносил быстрые мазки на натянутом куске шелка. Готовые картины стояли рядом. Склонившиеся над ручьем красавицы, летящие в небе птицы, сражающиеся воины, цветущие сады, расцвеченные легкими штрихами, оживали по воле уличного живописца.

— Любуюсь вашим тонким искусством, — произнес отец Иакинф недавно выученные слова.

— Благодарю достопочтенного за внимание к моему ничтожному, неумелому труду...

Взгляд художника говорил больше, чем обязательные изъявления вежливости. Ведь в голосе прохожего он услышал непритворное восхищение.

— Сюда, обернитесь сюда!

Деревянная колотушка тарахтела над ухом. Уличный повар протягивал чашки и куайцзы — палочки для еды, приглашая попробовать дымящиеся яства: лапшу, приправленную соей, и рисовую похлебку. И тут же рядом разносчик предлагал со своего лотка сладкие стручки, засахаренные яблоки, земляные орехи, побеги бамбука, связки бананов, ананасы, манго.

Трудолюбивые, искусные в ремеслах люди... Страна богатая, обильная плодами земными. Но откуда же бедняки и нищие?

Никто не слышит, что шепчет прохожий, все заняты своими делами. Спутник русского даламы остановился у столика, окруженного любопытными. Подошел туда и отец Иакинф. Ну конечно, бой сверчков! Любимое развлечение... И недурной заработок для владельца насекомых. У столика все теснее, то и дело хозяину протягивают монетку. Взяв деньги, он щекочет сверчков соломинкой. Это приводит несчастных насекомых в исступление. Грозно шевеля усами, они налетают друг на друга. Смертный бой... Один, наконец, слабеет, переворачивается на спину, враг его доканчивает.

Удачливые игроки получают свою долю, проигравшие снова пытают счастье, ставя на свежего бойца. А по соседству играют в кости. Предприниматель швыряет костяшки и накрывает их чашкой с такой стремительностью, что игра-

ющие не успевают считать. Прибыль владельца костей растет, но никто не приходит в негодование, никто не досадует. Тот, кто отдал последнюю монету, молча уходит.

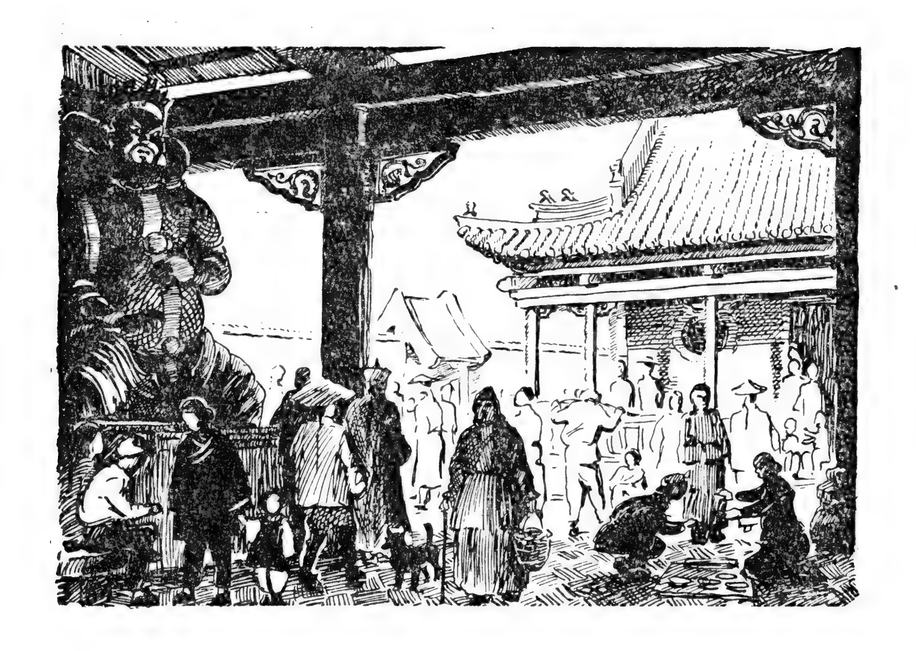
Воин богдыхана вопросительно смотрит на архимандрита. Пожалуй, уже можно войти в храм, воскурить благовонную свечу богине Высшей справедливости. Но отец Иакинф задержался около цирюльника. Ничего не поделаешь, придется подождать! Конечно, стоит понаблюдать за работой столичного искусника. Остро отточенным ножом он бреет клиенту сначала голову, потом волосы в ушах и, наконец, ресницы. Пальмовым гребнем ловко расчесывает и заплетает косу. Да, за косой надо ухаживать. Ее заботливо отращивают с детства. Матери собирают волосы малышей в косички. Длиной этих смешных хохолков любуются все в семье. Когда мальчик становится юношей, он спешит косички соединить в косу — ею гордятся; коса — лучшее украшение взрослого мужчины!

Как-то рассказал Алексей архимандриту историю, слышанную от деда. Не всегда подданные богдыхана носили на голове это украшение, которое удивляет и смешит чужестранцев. Обычай носить косу пришел от маньчжур. Двести лет тому назад они свергли Минскую династию и захватили престол Сына Неба, и тогда маньчжурский владыка издал страшный приказ: все мужчины в знак повиновения должны носить косу, иначе будут обезглавлены. И все-таки немало смельчаков предпочитали остаться без головы, чем подчиниться захватчикам. Но маньчжуры прибегли к хитрости: они запретили носить косы ворам, убийцам и другим преступникам. Так коса стала признаком добропорядочности, а бритая голова свидетельством позора.

Отец Иакинф и его спутник поднялись по ступенькам храма. Там царит полумрак. В глубине высится статуя богини Высшей справедливости: многорукое, с огромными выпученными глазами, с полуоткрытым ртом бронзовое изваяние. Горящие плошки освещают неровным пламенем богиню и охраняющих ее двенадцать деревянных истуканов.

Явившиеся испросить милости высшего существа возжигают курильные свечи и кладут к ногам божества склеенные куски золотой и серебряной бумаги. Это заменяет слитки серебра и золота. Жертва должна сгореть. Клубы дыма обволакивают лицо богини. Теперь можно обратиться к ней с просьбой. Чтобы не забыть всех бед и горестей, их записывают заранее. Остается только вынуть свиток и громко прочесть написанное.

Архимандрит и Алексей в глубине храма. Там пожилой, бедно одетый крестьянин взывает к богине. Видно, что он



пришел издалека. Его босые ноги сбиты, к ступням присохли комья грязи. Ни на кого не глядя, бедняк осторожно разворачивает прошение. Наконец-то он может поделиться своими горестями. Медленно и торжественно, как это полагается в храме, крестьянин произносит:

— «Великое справедливое существо! Выслушай и помоги ничтожному! Мой достопочтенный отец, умирая, оставил моему высокочтимому старшему брату и мне, ничтожному, дом и землю. Но почтенный брат мой сбился с пути добродетели и стал курильщиком опиума...»

Наклонившись к спутнику, Алексей переводит:

— «И вот, чтобы добыть деньги на курение, почтенный брат подделал бумаги и продал все оставленное нашим высокородным отцом имущество богатому уважаемому соседу...»

Голос крестьянина звучит еще торжественней и проникновенней:

— «Умоляю великое справедливое существо уговорить этого уважаемого соседа отказаться от земли, которую мой высокочтимый брат не имел права продавать. Я обращался уже к великому мужу высшей мудрости — судье, но он прогнал меня. Теперь вся надежда на благородную милость самого справедливого существа. Если уважаемый сосед мой

не согласится отдать мне землю, молю ниспослать на него все беды, сделать его жизнь сплошным горем. Пусть постигнут его неизлечимые болезни, жена станет бесноватой, а дети вечными бездомными бродягами. И пусть его богатство растает и он умрет в нищете и невыносимых страданиях...»

Крестьянин окончил моление, отвесил бронзовому божеству земные поклоны и со счастливой улыбкой медленно побрел к выходу.

Люди считают, что в праздничные дни боги благосклонней обычного. Но даже сегодня, в будничный день, толпа верующих вливается в храм, заполняя все углы и притворы.

В тусклом свете храма идолы кажутся призраками, выходцами из царства теней. Рядом с гордой, надменной фигурой, погруженной в задумчивость, вытянул вперед руки грозный истукан, похожий на судью, произносящего беспощадный приговор. За ним чудовище с выпученными глазами и вздутыми мышцами тела, напрягшегося в схватке с невидимым врагом.

Странные создания человеческого духа, жаждущего неземного утешения, безмолвствуют. Но молящиеся получают ответы на свои мольбы, на сокровенные обращения через жрецов-прорицателей. Вот они...

С громкими заклинаниями, ударяя в медные круги гонгов, приближаются они к богине. Сейчас жрецы истолкуют волю высших существ, возвестят молящимся, приняты ли их жертвы. Посредник между людьми и богами, воздев руки, не спуская глаз с божества, просит о благодати для тех, кто явился в храм:

— Молю владыку духов! Явись, снизойди на человека, готового исполнить твои приказания! Сойди, рассей полчища демонов, носящихся в воздухе. Явись и обнажи золотой меч, разруби им злобные существа, насылающие на людей болезни и несчастья. Явись во славе с громом и молнией! Не медли, владыка, снизойди на слуг своих, слушающих твои повеления!..

Жрец умолял, требовал, приказывал. Удары гонга становились чаще и резче. В их гуле уже не разобрать слов. Почитатели богини постепенно возвращались к прерванным занятиям. Опять слышались громкие разговоры, смех, перебранка. Кто-то возжигал курительные свечи, опять тлела золотая бумага.

Дышать в храме становилось труднее, сизый дым окутывал толпу, мерцание плошек сделалось совсем тусклым. Отец Иакинф и Алексей пробрались к выходу. Теплый ветер ударил им в лицо. После духоты храма воздух показался осо-

бенно свежим. Только что прошел дождь. Он примял пыль, омыл листву деревьев, еще пышней сделал астры и хризантемы, цветущие у ограды.

Солнце клонилось к закату и все же ласково грело осенние кусты и деревья, обильные плодами. Ничто вокруг не говорило об увяданье. А ведь уже ноябрь. В Сибири и на Урале давно оголились деревья, снег уже, наверно, покрыл там поля. А здесь зима все еще не может совладать с теплом. Только ранними утрами заставляет ежиться холодок и, случается, туман окутывает улицы столицы. Но солнце борется своими лучами и уже к полудню радует светом и теплом.

— Как не повторить за пекинцами, — говорит архимандрит, — что осень поистине приятнейшее время! Какая благодать должна быть сейчас на полях у поселян!..

— Хорошо там, — отвечает телохранитель богдыхана, — но нет прекрасней места в это счастливое время года, нежели в Пурпуровом городе — владениях Сына Неба.

Не все пришедшие к богине высшей справедливости поддаются ласке пекинской осени. Игроки в кости на ступеньках храма не замечают безоблачного неба и нежно греющих солнечных лучей. В азарте они яростно швыряют костяшки, вскакивают, наступают друг на друга. Но никто не сжимает кулаков, не пытается ударить противника. В запальчивости игрок подносит к лицу обидчика руку с вытянутым средним пальцем: этого достаточно, чтобы смыть оскорбление. И спорщики, налетевшие было друг на друга, продолжают игру с самым мирным видом.

Ссоры здесь чаще всего оканчиваются благополучно. Кто бы ни повздорил: принадлежащие к сословию ученых или купцов, крестьяне, ремесленники или всеми презираемые бедняки — кули, люди редко пускают в ход кулаки. Да этого и не допустят важно расхаживающие по улицам полицейские. Для устрашения дерзких они взмахивают плетками, которые носят на плече. Полицейские должны поддерживать чистоту в столице, но этой обязанностью они обычно пренебрегают. Лишь изредка можно увидеть, как блюстители порядка очищают улицы от мусора и грязи, заметая кучи отбросов подальше в переулки. А зато они строго следят за тем, чтобы никто не выходил из домов после полуночи. О ее наступлении извещают удары в гонг.

В столице много нищих. Оборванные, часто совсем нагие, они скитаются и ютятся за стенами и на окраинах города. Случается, собравшись толпой, они в поисках подаяния бродят по улицам, осаждают торговые ряды. Тогда с ними не справиться, не отогнать.

Как-то, блуждая по столице, архимандрит остановился,

разглядывая выставленные в лавке съестные припасы. Чего только здесь не было!.. Наверное, владелец лавки был поставщиком богатых домов. На перекладинах из бамбука висели свежие плавники акул, лоснящиеся свиные окорока. В деревянных колодах копошились хайшэнь — съедобные морские черви. С полок вкус гастрономов дразнили утиные и куриные яйца, в течение года выдержанные в извести, смешанной с пряностями. В тростниковых клетках визжали откормленные рисом щенки.

И вдруг это изобилие, это богатство скрыла медленно и спокойно подошедшая толпа людей, едва прикрытых лохмотьями. Старые и молодые, слепцы, горбуны, калеки, они остановились у разукрашенного пестрыми лентами и фонарями входа и под трещотку, которую крутил покрытый язвами прокаженный, затянули тягучую жалобу. Никто в лавке не попытался прибегнуть к силе, чтобы отогнать убогих. Сначала хозяин и не взглянул на них: верно, надеялся, что бедняки постоят и уйдут. Но нищие не двигались, продолжая свое унылое завывание. Прошел час, может быть больше... Что будет дальше? Наконец купец убедился: несчастные не уйдут. И тогда толстощекий приказчик показался у входа. Спокойно и деловито он швырнул толпе горсть медяков. Унылое пенье тотчас прекратилось. Нищие собрали подаяние и двинулись дальше. Трещотка затарахтела у другой лавки. И снова послышались скорбные голоса.

Не спорят здесь о вере и не принуждают к ней. Не заставляют посещать храмы, не преследуют вероотступников. И все — от самых знатных чиновников, имеющих высшие ученые степени, до бездомных кули — истово чтут память предков и первую молитву возносят душам умерших родичей.

В каждом доме есть семейный алтарь; с обеих сторон его — таблицы, на которых начертаны пять иероглифов: «небо», «земля», «император», «предок», «учитель». Цепь их замыкает шестой иероглиф — «престол». Тут же в особом ларце находятся кипарисовые дощечки с именами предков, их званиями, чинами, датами рождения и смерти. День и ночь у богачей горят в алтарях масляные светильники; те, у кого не хватает денег на масло, зажигают фитилек на ночь, а совсем бедняки — лишь в памятные дни.

Верующие могут признавать любое вероучение — буддизм, даосизм, следовать заветам Кун-цзы, или, как называют его европейцы, Конфуция.

Чтут здесь и других богов, сохранившихся от древней шаманской религии, которой до сих пор следуют завоеватели-маньчжуры. Молятся этим богам, не задумываясь об их происхождении, все подданные богдыхана.

Долго стоял отец Иакинф около лотка у входа в храм. Владелец расхваливал свой товар.

— Покупайте великих, почтенных богов! — взывал он. — Не жалейте презренных денег на священные изображения, которые оградят вас от бед и несчастий.

Искусно сделанные фигурки. Они из кости, дерева, металла. Православный далама разглядывает пестро раскрашенную статуэтку Цзао Вана, покровителя домашнего очага, которому уготовано почетное место в каждом алтаре. Если нет денег купить изображение Цзао Вана, на видном месте вешают красную полоску с его именем. От этого божка ничего не скрыть, ему ведомы все дурные и хорошие поступки, совершенные людьми. Когда кончится год, он сообщит о них на небеса. Если люди знают за собой что-либо дурное, покровителю очага мажут губы медом, который, конечно, подсластит его речь. А случается, в его уста кладут тугую тянучку. Цзао Ван тогда вовсе не может открыть рта, и на небесах не узнают о делах грешника.

Угрожающе скалят свои страшные пасти золоченые драконы — боги воды. Исполинские изображения их украшают мосты, а без маленьких драконов-богов не обходятся рыбаки и мореплаватели.

Переваливаясь на изуродованных крошечных ножках — «золотых лилиях», — к лотку торговца приближается молодая миловидная женщина. Она бросает слова приветствия и несколько раз певуче произносит:

— Кан-му, Кан-фу...

— Ну, конечно, — снисходительно замечает Алексей, — неопытная молодая мать боится, что не усмотрит за ребенком, ночью проспит, а младенец упадет и разобьется. Но если у изголовья дитя будут стоять Кан-му и Кан-фу, плохого не случится — эти боги уберегут детей от несчастья.

Торговец достает две костяные фигурки — у них ласковые лица и руки, готовые поддержать падающего. Женщина довольно прижимает богов к груди и, ковыляя на «золотых лилиях», медленно удаляется.

К лотку подходят и другие покупатели. Им не приходится долго выбирать, — хозяин знает, что предложить каждому. Нет такого ремесла, которое не имело бы покровителей на небе. Плотники и кузнецы, портные и сапожники, цирюльники и повара — у всех есть свои боги, к которым обращаются, моля о преуспевании в делах. В божественных покровителях не отказано нищим, ворам, женщинам легкого поведения. И об их успехах заботятся на небе особые божества.

— Этого бога, полагаю, уважают особенно! — Архимандрит берет с прилавка деревянного старца с белой бородой, доброжелательно улыбающегося. Одной рукой старик опирается на посох, другой сжимает слиток золота.

— Цай-шэнь — покровитель богатства, — подхватывает торговец, — необходим всем почтенным, уважаемым людям, особенно чиновникам и купцам.

Невдалеке находится лавка антиквара. Сюда стоит заглянуть и полюбоваться редкостными предметами старины. Впрочем, тут есть изделия и современных мастеров: художников, вышивальщиков, ювелиров, резчиков по дереву, металлу, кости. Владелец лавки сам распахивает дверь перед посетителями. Вот они, создания таланта, тонкого вкуса, терпеливых рук и знания жизни!

Хозяин лавки не расточает слов, чтобы всучить товар покупателям. Все здесь говорит само за себя.

— Не устаешь удивляться высокому искусству здешних мастеров. Трудно превзойти их в подражании природе. — Отец Иакинф залюбовался акварелью, писанной легкими штрихами в чуть блеклых тонах. Краски будто скользят, переливаются...

Взыскательный глаз художника разглядывает картину.

— Сему следует поучиться...

Стрекоза парит в тихой заводи среди камышей. Видны прожилки ее прозрачных трепещущих крылышек. Хрустальной чистоты вода... Пушинка плывет в воздухе, гонимая солнечным лучом. И кажется, вот-вот послышится шелест жесткого крылышка.

— А здесь роскошь, богатство цвета! — Отец Иакинф прикасается к расшитой шелковой ткани. На ней красуется павлин во всем великолепии своего пышного хвоста.

На прилавке — одеяния из светлой парчи с золотыми цветами, из зеленой ткани с пламенно-красными языками и лазурные, с вытканными серебряными рыбками, похожими на летящие искры. А из угла выглядывают вездесущие бронзовые, пальмовые и костяные будды и божественные изображения добрых и злых сил природы.

Эти вещи предназначены украшать жизнь, способствовать молитвенному состоянию. Но есть изделия и практического назначения. Отец Иакинф останавливает выбор на лакированной бамбуковой подставке для кистей.

Она стоит совсем недорого, и хозяин лавки получит грошовый барыш, но с какой приветливостью обращается он к покупателю, спросившему о цене:

— Не расточайте сердце заботой. Если снизойдете уплатить, благодарности не будет конца...

Приняв монеты с пробитыми посредине отверстиями, он не спешит нанизать их на веревку, а трижды произносит установленные слова благодарности:

— Не смею, не смею, не смею!..

...Теми же шумными, многолюдными улицами возвращался архимандрит в русское подворье. Он шел один. Телохранитель богдыхана отправился к своему посту во дворце Сына Неба. Архимандрит не спешил и пошел дальним путем. Меж невысоких глиняных домов толпились люди. Казалось, все местные жители покинули свой кров, чтобы заняться делами под открытым небом. Тут же стояли и лежали верблюды, двигались навьюченные мулы, бродили свиньи, пробегали голодные псы.

Отец Иакинф пробирался в густой толпе, и никто ни разу не задел его, не толкнул, не произнес вслед ему грубого слова.

Нельзя не заглядеться на иные дома. Фасады их украшены резьбой. Щедро позолоченные, покрытые лаком деревянные узоры. Букеты и гирлянды цветов, звери, птицы, герои сказок... Велико искусство и терпение резчиков, но труд их, наверно, почти ни во что не ценится, если подобные сокровища выставляют на произвол ветра, холода и жары.

А по соседству — жалкие лачуги, где ткут дорогие шелка, шьют, вышивают, рядом столярные, сапожные, граверные мастерские, за ними мастерские, где делают веера, фонари, паланкины, шляпы, дальше красильные, свечные, кондитерские заведения. Ремесленники стоят или сидят, согнувшись над столами и верстаками, располагаются прямо на земле. Перед мастерскими свешиваются красные, желтые, черные вывески. Полотнища их застилают свет, оставляют в постоянном полумраке тесные помещения. Но не смолкает стук молотка, визг пилы, удары топора, шипение резца, шурханье рубанка.

Недавно сяньшэн по просьбе любознательного ученика показал ему ремесленное предприятие некоего почтенного Мина.

— А где же укрылась фабрика твоего знакомца? — недоумевал отец Иакинф, когда они подошли к приземистому жилищу из серой глины, ничем не отличавшемуся от соседних построек.

— Здесь, здесь... — улыбнулся Алексей и подвел к изгороди, за которой виднелась густая зелень.

У калитки сада посетителей встретил сам владелец предприятия — седой человек в чистой, хотя и заплатанной синей курме.

— Испытываю великую благодарность, принимая труд ваших ног... Пожалуйте... — пригласил старик с поклоном, полным достоинства.

Они вошли в сад, где все сияло праздничной чистотой. Весь сад умещался на крошечном клочке земли. Но что только здесь не росло! Бамбуки устремляли ввысь острия своих пик. Подстриженные ели раскидывали иглистые ветви над прудиком, в котором плавали жирные карпы. На берегу грот, украшенный старыми, источенными водой, мшистыми камнями. И везде хризантемы, азалии, розы...

— Экое здесь благорастворение воздухов! — заметил отец Иакинф и повторил вопрос: — А где же промысел?

Кустарное производство бумаги почтенного Мина находилось в глубине сада, под ветхим камышовым навесом.

— Э-эх!.. — слышалось оттуда, затем глухой стук удара. Вздох, стук... и снова вздох, стук. Они сменялись с ровной последовательностью.

Отец Иакинф подошел ближе. Под навесом, почти касаясь головой низкой крыши, трудился обнаженный до пояса рослый человек. Пудовый пестик из чугуна взметывался в его руках и с силой опускался в огромную каменную ступу. Мускулы играли на мокром от пота теле. При каждом взмахе они вздувались шарами на руках, трепетали на спине, напрягались на широкой груди.

— Жребий мой жалок... По воле неба у меня в семье лишь один помощник — сын, — скромно промолвил почтенный Мин, указывая на силача, обливавшегося потом.

— Здоров мужик! — вырвалось по-русски у отца Иакинфа. Он любовался сноровкой труженика, продолжавшего ровно взметывать и опускать пудовый пестик.

— Мы делаем бумагу из бамбука... — переводил Алексей пояснения старшего Мина. — Можем ее делать также из хлопка, шелка, травы, соломы, навоза. — И добавил: — Способ изготовления для всех сортов почти одинаков. Он существует уже семнадцать веков.

«Европейцы постигли искусство изготовления бумаги после крестовых походов, — заметил про себя отец Иакинф, — через тысячелетие после китайцев...»

— Э-эх!.. — взмахивал младший Мин пудовым пестиком.

Он работал безустали, как исправная машина, не обращая внимания ни на пришельцев, ни на шмеля, угрожающе гудевшего над самым ухом.

— Бамбук, вываренный в котле, режем на куски и толчем в ступе, пока не получится волокнистое месиво. Ситом вылавливаем из чана волокна... — продолжал ровный голос почтенного Мина. — А ну, покажи! — приказал он сыну.

Силач отложил чугунную палицу и обернулся. Ему было под сорок, а глаза его глядели по-юношески живо, мягкая улыбка подчеркивала дружелюбный взгляд.

Он утер рукой пот с лица и низко поклонился гостям. Затем быстрым движением зачерпнул в чане, стряхнул сито. На деревянной доске остался еле заметный слой волокна.

Сито мелькало в сильных руках и, едва сливалась вода, переворачивалось, образуя слои бумажного волокна.

— Сколько же раз надо так черпать и стряхивать, чтобы получить лист бумаги?

— О-о-о, совсем мало! — ответил почтенный Мин. — Для тонкого листа несколько сот раз, а для лучшего сорта в два раза больше. Мы делаем только лучшую бумагу.

— Н-да... — вздохнул отец Иакинф, рассматривая тонкий листок, стоивший стольких трудов и усилий. — Отличная бумага!

— Ваши слова — плод лестного воображения, — был ответ.

А как довольны были старший и младший Мины, когда русский далама пожелал приобрести стопу белоснежных листов!

— Свет вашей милости осветил наш ничтожный труд. Это радость для сердца... — Благодарили отец и сын, но вовсе не из-за щедрости покупателя. Нет, оба ремесленника радовались тому, что труд их оценен по достоинству.

...Смеркалось уже, когда глава духовной миссии подходил к подворью на улице Дунцзи миссиян. Он не приметил, как за углом дома мелькнули длинные полы ряс. Бражничая, отцы Аркадий и Серафим предпочитали не попадаться на глаза архимандриту. Зато как строго оба пастыря судили его!

— В безмерном своеволии забыл страх божий, облачился, аки язычник, — проворчал отец Аркадий.

— Нам не дает послаблений, а сам-то каков!.. — распалился отец Серафим после непомерного возлияния напитка, который, по его уверению, «и монаси приемлют достойно».

Архимандрит не слышал раздававшихся вслед поношений. В задумчивости миновал сад с зеленеющими меж деревьев клумбами. Неторопливо поднялся по ступенькам крыльца и, открыв дверь, приостановился на пороге.

Из глубины кельи доносился ровный перестук маятника. Часы с кукушкой... Привезенные из Казани, как и бронзовый кораблик-чернильница, эти часы всегда напоминали о родном, далеком.

В сумеречном полумраке темный циферблат казался насупленным лицом, а черточки минут — морщинками. Но как

тороплив немолчный разговор секунд! А вот с натужным старческим скрипом раскрылись воротца вверху циферблата. Кукушка выскочила, взмахнув крыльями. Прокуковала несколько раз и умолкла. Келья снова наполнилась беспокойной скороговоркой секунд.

Время торопит. Отец Иакинф начал повседневную беседу с собой. «Видел сегодня много, — записал он в дневнике, — но узрел еще недостаточно, ибо ощущаю несообразность и противуречивость понятий.

Отчего так? Не оттого ли, что сужу о чужих вещах по нашим понятиям, а в Китае все то же, что у нас, но не так же, как у нас.

Приметил все же, что простой люд Срединного государства выше черни иных стран. Трудолюбие и миролюбие отличают китайский народ. Не наблюдаю здесь кровавых развлечений культурных европейцев: боя быков, бокса, охоты. Забавляются здесь ношением клеток с птичками, пусканием в небо воздушных змеев и голубей с музыкальными дудочками, наиболее жестокое развлечение — бой сверчков.

Китайцы чтят мудрый завет Мэн-цзы, верного последователя Конфуция: «Любящий войну заслуживает величайшего наказания. Человек, утверждающий, что он может собрать войско, и гордый своим умением в битвах, — опаснейший преступник».

Отец Иакинф раскрывает приобретенный недавно толстый фолиант. Шелковистые, шуршащие страницы его пока остаются загадочными. Но скоро вертикально расположенные письмена станут понятными и тогда расскажут историю страны, поведают о мудрости ее философов. А это поможет узнать всю правду о народе, жизнь которого отец Иакинф так жадно наблюдает.

Долго светилось окно в келье ученого, пока рассвет не затушил в небе последней звезды.

Глава девятая

Еще в Иркутске архимандрит получил письмо от старого Саблукова, все еще не оставлявшего Никиту Бичурина своими наставлениями:

«Едешь, друг мой, в страну, о коей больше всего небылиц плетут, но не доверяйся чужим мнениям, суди беспристрастно. Жду от тебя рассказов дельных и обстоятельных. Помни, Китаем интересуюсь давно».

В другом письме, оно пришло уже в Пекин, Саблуков передавал привет от дочери — гостит сейчас Таня в Казани, а когда вернется к себе в Саратов, пусть ждет Никита послание молодых Карсунских. И впрямь, дождался он из Саратова ласкового письмеца, на которое тотчас ответил. Продолжал архимандрит переписку и с Лаврентием Ивановичем. Сообщал ему, что начал изучать китайский язык, старается быстрее постичь письменность, чтобы в подлиннике читать книги, которые здесь во множестве печатаются. Писал и о том, что «в Китае объясняются короткими, схожими словами, строки в книге располагаются от правой руки к левой, но не поперек, а сверху вниз; книгу начинают там, где мы оканчиваем ее».

Это писал еще тогда, когда бродил по Пекину, прислушиваясь, но не понимая людей. Подобно незрячему, перелистывал книги, которые бережно вручали ему владельцы лавок на улице Лю ли чан.

Рассказывал архимандрит в письмах к друзьям о своем сяньшэне, албазинце Алексее. Нелегко приходилось первому учителю. И в ясные дни и в непогоду ученик водил его всюду за собой, заставляя слово в слово переводить все, что слышал: возгласы прохожих, зазывания торговцев, споры уличных забияк, молитвы, что читали в храмах.

Упрямо стремился отец Иакинф постичь жизнь города, который метко в дневнике обрисовал:

«Пекин — пестрая, самая многолюдная столица на востоке, — это обширнейший в мире гостиный двор со множеством присутственных мест, княжеских дворцов, храмов и монастырей».

Отец Иакинф благодарен первому, пускай не столь искусному, но всегда готовому услужить, терпеливому сяньшэну. Гордился этим званием телохранитель богдыхана. Кто же, кроме потомка албазинцев, владевшего языком своих храбрых предков, мог прийти на помощь архимандриту? Не научились китайскому языку после тринадцати с лишним лет пребывания в Пекине предшественники отца Иакинфа.

— Учиться разговаривать по-китайски? — удивлялись отбывающие на родину миссионеры. — Труд сей непосилен, да и ни к чему! Дай, наконец, бог в Россию вернуться, а там, слава всевышнему, премудрость китайская не надобна.

Утверждали миссионеры, что невозможно выучиться иноземцу разговаривать с китайцами.

— А еще труднее изучить здешнюю письменность. Это можно почесть блистательным торжеством острого ума, памяти и терпения. На сие надо положить жизнь, ибо надлежит запомнить тысячи начертаний, из коих каждое иной смысл заключает.

Начальник отбывающей миссии отец Софроний, единственный из братии, усвоивший некоторые из обиходных выражений и несколько обучившийся письму китайскому, добавлял:

— Возьмем хотя бы слог «фу». Принято для него восемьдесят знаков и все вслух розно читаются. Собеседник должен угадать, говорится о счастье или о богатстве, о вещи красивой или великой, а может быть, желают указать на множество этих же предметов.

— Поистине, чтобы уловить мысль говорящего, требуется слух, каким разве только кочевники-монголы обладают. Известно, что, приложивши ухо к земле, скажут они, с какой стороны и за сколько верст несется табун и сколько в нем голов.

— Да вот, послушайте! Обучавшийся языку потребовал соль, «янь», ему принесли табак, что тоже произносится «янь», не говоря уже о том, что «янь» — это еще и ласточка, глаз, дым и многое другое.

Отец Иакинф трудностей не убоялся. Долго рылся в хранилище миссии, осмотрел все полки в библиотеке. Искал, может, оставили обитавшие здесь монахи словари либо разговорники китайского языка. Неужто никто из них не зани-

мался китайской грамотой? Нет, ничего не усмотрел, что могло бы принести пользу в занятиях. Единственное, что попало в руки через забредшего в гости португальского монаха, был скудный латинско-китайский словарь. Терпеливо стал отец Иакинф пополнять его тем, что черпал в прогулках по Пекину и встречах с горожанами. Радушно принимал он всяких людей в подворье. Калитку архимандрит приказывал никогда не закрывать. Все могли отдыхать в тени посаженных русскими миссионерами деревьев, любоваться рыбками, резвящимися в прозрачной воде фонтана.

Невдалеке от подворья находился караван-сарай, где бывали тибетские ламы. Перебирая четки, буддийские монахи шептали молитвы у стен Сретенского храма, когда случалось, что кто-нибудь из иереев служил обедню. Желанными гостями были монголы — проводники караванов в китайскую столицу из Кяхты и Урги. Монголы привозили вести с родины, поклоны от знакомых купцов. Но чаще всего собирались в русском подворье просто любопытные, китайцы, маньчжуры, люди достаточные и бедняки, ищущие заработка.

Не со словом проповеди, не как служитель христианской церкви выходил к гостям архимандрит Бичурин. Православный далама усаживался под деревом и, пристроив на коленях кусок картона, рисовал. Он продолжал альбом, начатый в Монголии. На бумаге, как живые, со всеми подробностями своего одеяния, представали маньчжуры и китайцы. Вот важный чиновник в широкой шапке с нагрудным квадратом на шелковом, расшитом золотом халате. А вот скачущий воин конного корпуса в боевых доспехах, со щитом и с поднятым в воздух копьем. А тут же рядом с протянутой рукой нищий слепец.

Всегда находились желающие увидеть свое изображение. Любопытные зазывали приятелей полюбоваться искусством русского художника. Зрители громко отпускали слова похвалы, те, кто служил натурой, терпеливо ждали конца сеанса.

Наконец архимандрит откладывал самодельный мольберт и доставал тетрадь. Довольный, он оглядывал тенистый сад, где росли и посаженные им деревья. Цвели персики. Неугомонный пекинский ветер играл листвой деревьев, пряным ароматом щекотал ноздри.

— Простите за беспокойство, как это называется? — спрашивал архимандрит, поднимая упавший розовый цветок.

— Тао хуа, — вежливо поклонившись, отвечал кто-нибудь из гостей.

«Тао хуа», — записывал архимандрит русскими буквами «цветок персика». А постигли ли его добровольные сяньшэны искусство цзы — письменных знаков? Он проводил

в воздухе несколько линий. Хотя в подворье гостями были обычно простолюдины, грамотные всегда находились.

— Могу ли считать себя достойным? — почтительно произносил грамотный и, взяв из рук архимандрита мохэ — коробочку с тушью, выводил рядом с русскими буквами мудреный знак.

— Сесе, сесе! Спасибо, благодарю! — архимандрит кланялся и в ответ слышал:

— Буюн се! Не стоит благодарности!

Каждый день новые ряды слов появлялись в тетрадях отца Иакинфа. Случайно собранные слова он по вечерам располагал по алфавиту, по нескольку раз переписывал казавшиеся такими запутанными начертания, заучивал их значение, повторял вслух и про себя. Он подолгу вникал в эти знаки, разбирал их рисунок и смысл. Как мудро, изобретательно и тонко складывался язык этих письмен! Вот перед ним иероглиф, он означает «грусть». В нем два знака: «дверь» — «мынь» — и ниже «сердце» — «синь». Архимандрит изумлялся, как верно говорит это изображение. Не оставляем ли мы подчас свое сердце на пороге дверей, которые покидаем?

Опять знак «мынь», под ним обозначение рта. Это сочетание говорит — «посланник»: тот, чья речь должна пройти в дверь другого. Ящик и внутри него топор означает ремесленник. Сердце и женщина, изображенные под одной крышей, — конечно, это «любовь». А вот человек рядом с оружием — значит «сражаться».

Отец Иакинф и на улице заговаривал с людьми, просил начертить иероглиф слова, которое впервые узнал. Иногда его собеседники сами чертили знаки в воздухе. Китайцы, если кто-либо говорит на другом наречии, пишут иероглиф. Тогда умеющий читать поймет незнакомое слово.

Не только во всех восемнадцати провинциях дети учатся читать и писать одни и те же знаки. Эти же иероглифы приняты в Корее и Японии, хотя там произносят их иначе.

Нетрудно было заметить, что в Китае два языка: вэнь хуа и синь хуа — письменный и разговорный. Но и разговорный не един. Существует язык простонародья и книжный, который называют языком чиновников — гуань хуа. На разных наречиях говорят на севере и юге Китая.

Издавна существует в провинциях должность переводчиков. Когда-то они помогали вести переговоры правителям разрозненных княжеств. Затем к их помощи стали прибегать чиновники, посылаемые из Пекина в провинции.

Слушая живую речь, вникая в законы китайской письменности, отец Иакинф узнавал, что не только звучание слова

и не только ударения помогают уловить смысл произносимого. В разных сочетаниях короткие, односложные слова означали имя существительное, глагол, прилагательное, наречие.

«Время летит, как стрела, солнце и луна мелькают, как челнок». Знаками, изображавшими это изречение, отец Иакинф начал новую тетрадь. Шестой раз уже встречает он в Пекине последний день двенадцатой луны. По европейскому исчислению, наступил тысяча восемьсот тринадцатый год.

Десятки тетрадей с искусно начертанными иероглифами и с их значением на русском языке хранятся в шкафу в доме архимандрита. Пять лет он составлял этот словарь. Огромный затрачен труд! Зато как ясны и понятны теперь иероглифы, как легко и просто находятся ключи, на которые разделены тысячи китайских письмен! Да, теперь с полным правом можно записать в предисловии к словарю: «С первого взгляда сколь ни труден для нас китайский язык по своим необыкновенным оборотам, но если вникнем в состав его без малейшего предубеждения со стороны правил собственного языка, то он скоро станет в нашем понятии правильным, стройным, удобопонятным».

Все в этом языке уже кажется отцу Иакинфу простым и постижимым. Он перестал приноравливать его к грамматическому строю европейских языков, что приводило вначале к мучительным недоумениям. Все это позади. Теперь он знает, что язык и письменность в Чжунго управляются своими мудрыми законами, удобными для выражения всех оттенков человеческой мысли.

Учение философов, историю народа, научные трактаты, стихи сохранила китайская письменность с древнейших времен.

Отец Иакинф хотел поделиться с друзьями своими успехами. Не терпелось рассказать о них Саблукову. Если бы знал старик, как смело вступает Никита Бичурин в беседы с пекинцами, читает китайские книги! Подумать, что он запомнил уже больше десяти тысяч иероглифов и теперь изучает названия исторические и географические. Скоро станет переводить китайские сочинения, труды лучших ученых на русский язык, и это откроет ему истинный Китай, покажет его глазами самих китайцев, рассеет лживые мнения о прошлом и настоящем Срединного государства.

Но письма на родину не доходят. И оттуда нет вестей ни от Святейшего синода, ни от друзей.

На родине кровопролитная война. Нарушив договоры, Бонапарт напал на Россию.

Иезуиты-миссионеры утверждают, что Россия уже покорена Наполеоном. Пекинская газета «Цзин бао» недавно, со слов какого-то голландского капитана, сообщила, что русские бегут, преследуемые французами. Гости, заходящие в подворье на улице Дунцзи миссиян, спрашивают, правда ли, что царь бежал и французский император взошел на русский престол? Ложь! Измышление врагов! Но даже в Цзунли ямыне — палате иностранных дел, куда начальника миссии недавно вызывали, после церемонных комплиментов могуществу России пришлось услышать туманную фразу о храбрых войсках, которые неустрашимо двигаются назад, а не вперед. Однако архимандрит не остался в долгу. С неменьшей витиеватостью ответил он, что русские хотели бы быть столь неустрашимыми, чтобы уже двигаться назад в свои пределы, однако их задерживают отступающие французы.

Все же тревога не проходила. Редкие вести из России не радовали. Недавно два иркутских купца прибыли в Пекин. В России нужда в товарах, фабрики повсюду остановились: не до торговли, ежели к матушке Москве подбирается француз. Шопотом передавали купцы, что перед самым их отъездом прискакал в Иркутск курьер, привез губернатору недоброе известие — страшно сказать: Москва пожаром спалена.

А может быть, все это только слухи? Да и новостям этим уже с полгода. Пока купцы добирались до Пекина, мало ли что могло произойти. Неужто не справится русская армия с французами? Но все-таки из Петербурга нет никаких известий. Ни о чем не запрашивают, не посылают, как бывало, распоряжений касательно «спасения помраченного образа божия в потомстве албазинцев» и требований «поддерживать православие в думах обращенных язычников богослужением и проповедью». Потомки удалых албазинцев, как сразу приметил отец Иакинф, равнодушны к церковным службам и проповеди православия. Святые обряды им не нужны, они не хотят крестить детей, венчаться в церкви. Приверженные к обычаям страны, в которой родились, воспитанные матерями-китаянками, они чуждаются православия. Только подачками можно соблазнить албазинца послушать богослужение, прийти к исповеди.

Недавно один из крещеных прибежал в подворье. Причитая, кинулся в ноги архимандриту.

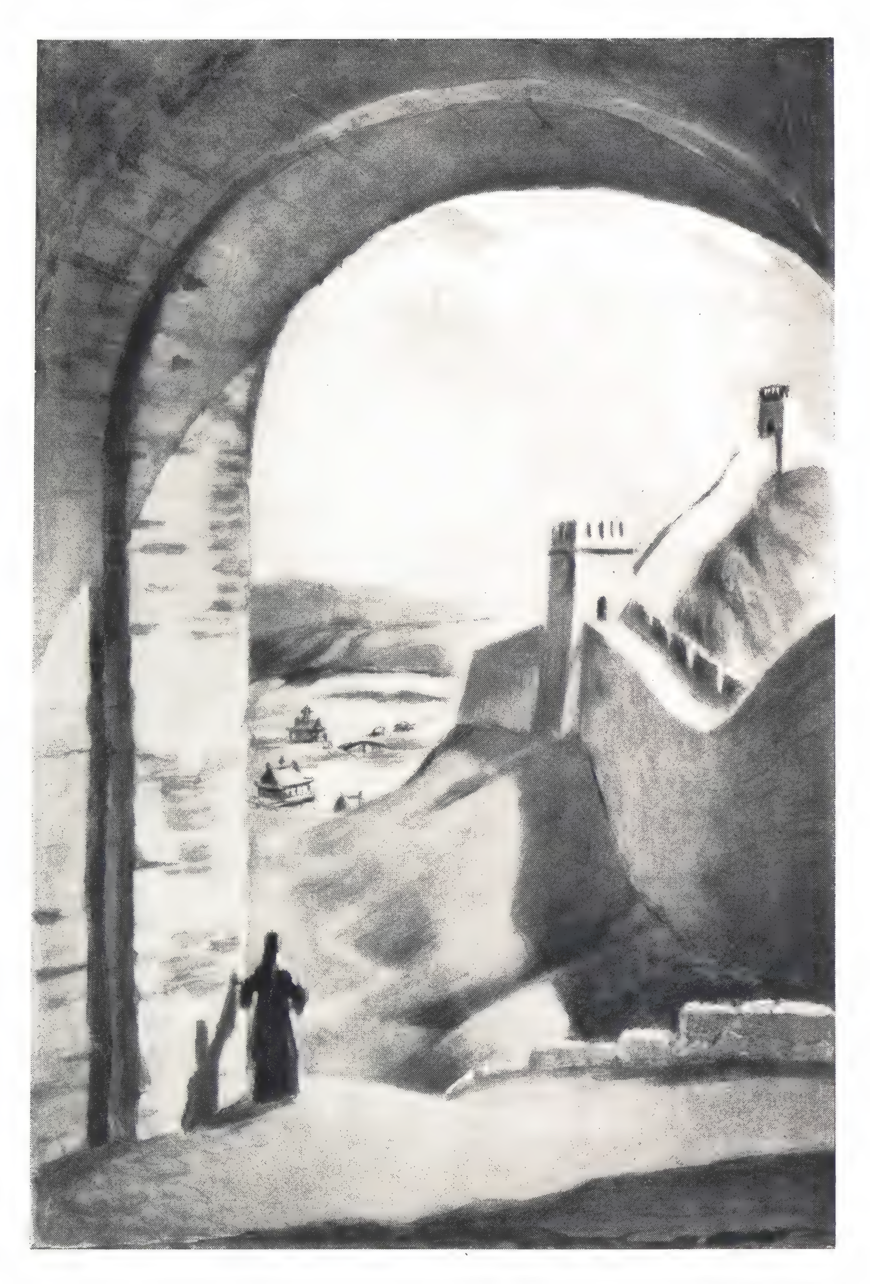
— Что делать? — плакался бедняк. За долги у него хотят отнять дочь. Он должен продать ее, отдать богачам, у которых она навсегда останется рабой.

Несчастный молил помочь ему заплатить долг. За это он готов крестить девочку. Только бы она осталась свободной.

«Вот она, цена приобщения к православной церкви!» — думал отец Иакинф. Он выручил бедняка. Хорошо, что недавно получил за свои переводы в Палате иностранных дел. Денег в православной миссии нет. Пополнения казны из Петербурга не приходится ждать. Что поделаешь — война!.. Не до миссионеров сейчас русскому правительству. Братия ропщет, винит архимандрита. Он уже роздал последнее серебро, которое казначей собрал с арендаторов церковных домов. Как быть дальше? Миссионеры шумят, их подстрекает отец Аркадий Булгаков, фискал, еще в Казани шпионивший за Никитой Бичуриным. Не одну кляузу настрочил Булгаков в Синод. Сейчас он совсем распоясался: уже не исподтишка, громко повторяет, что не своим делом занялся архимандрит. Не за тем, чтобы якшаться с идолопоклонниками и читать языческие книги, послали его сюда.

Не стоит обращать внимания на соглядатая Булгакова. Чтобы просуществовать, придется заложить церковные земли, жить потеснее, сдать в аренду дом духовной миссии. Не о себе заботится архимандрит: ему хватит того, что получает он за переводы на китайский язык бумаг, которые приходят в Пекин из европейских стран.

Правда, старательный Яфитский, не в пример остальной братии, не гнушается никаким трудом. Нашли заработок



К стр. 86.

и ученики, прикрепленные к миссии. Они обучают русскому языку маньчжур в Пекинском училище, будущих чиновников в Кяхте и Урге. Изучил китайский язык прилежный Сипаков, одолевший с помощью архимандрита премудрость иероглифики. И ему, как учителю-переводчику, перепадают заработки. Остальная братия пребывает в безделье и — чего греха таить! — предается пьянству, случается, буянит, позорит церковь.

Архимандрит пытался найти миссионерам занятие, открыл школу для обучения русскому языку детей крещеных албазинцев. На уроки пришли только трое парнишек, матери которых соблазнились посулами денег и подарков. А когда в казне ничего не осталось, школу пришлось закрыть. Не получая жалованья, никто из братии не желал утруждать себя занятиями.

Все это тягостно. Неурядицы в миссии, денежные заботы отрывают отца Иакинфа от дела, в котором он видит единственное свое здесь назначение. Одобрит ли это синодское начальство? Конечно, нет. В Синоде, наверно, согласны с Аркадием Булгаковым. Знал отец Иакинф: если бы подачками сманил в лоно православной церкви несколько заблудших душ китайцев, вот тогда бы угодил духовному начальству. Но все равно, что бы ему ни грозило, архимандрит будет продолжать свои занятия. Иначе как сможет он рассказать правду о стране, которая многим государствам представляется столь загадочной?

Европейцы упрямо подходят к Китаю со своей меркой, им мерещится в нем хаос, несообразность, странная противоречивость понятий. Весьма поверхностны в своих суждениях путешественники, доверяющиеся слухам и сплетням. О таких сочинителях здесь хорошо говорят: «У них уши из ваты, ничего не слышат».

Как не осудить католических миссионеров и англиканских патеров, не останавливающихся в своих происках перед ложью и обманом! Для мнимого возвеличения христианской веры стараются унизить, оболгать китайский народ. Не они ли распространяют сказки о дикарских обычаях китайцев? Пишут в своих книжонках, что в Китае ненаказуемо детоубийство; якобы существуют здесь люди, которые тем только и занимаются, что убивают младенцев. И эти басни сочиняют о стране, где сыновняя почтительность считается священнейшим долгом!

Надо ли удивляться, что католических проповедников, заманивающих простаков в свои тенета, китайцы называют

сяоминьху — улыбающийся тигр. Так прозвали настоятеля португальского подворья де Рибейру и болтливого францисканца патера Пиуса. И так же зовут надменного англиканского патера Дулиттля. Эти и другие проповедники слова Христова скорее напоминают торговых агентов, ибо они куда больше пекутся о коммерческих интересах своих стран.

Патер Дулиттль из них особенно деятельный: собирает сведения о морских портах, речных путях, приглядывается к китайским военным силам... Приезжие купцы Ост-Индской компании считают англиканского патера своим постоянным представителем в столице Чжунго. Действительно, он ревностный поборник их интересов. С его участием, при его посредничестве растет и ширится ввоз страшного зелья с маковых плантаций Индии. Опиум туманит разум пристрастившихся к курению его, делает людей неспособными к труду. Из-за пагубной привычки к опиуму люди превращаются в нищих, преступников — «теряют лицо», как здесь говорят.

Богдыхан строжайше запретил торговлю опиумом, курение которого отнимает у народа драгоценное время и заставляет отдавать последние деньги за гнусную грязь заморских дьяволов. Издан закон, не позволяющий привозить и продавать опиум в Китае. Но маковую отраву везут контрабандой. Европейцы не жалеют денег на подкуп тех, кто следит за выполнением закона. Ведь заморские дьяволы обогащаются, торгуя ядом, губящим и бедняков и богачей, стариков и молодых, мужчин, женщин, детей. Могут ли после этого китайцы дружелюбно относиться к европейцам? По крайней мере, к тем из них, которые повторяют бесстыдные слова патера Дулиттля: «Не будь опиума, Китай проснулся бы от своей спячки и стал служить нам вечной угрозой. Я благословляю чудовищные объятия опиума, памятуя старую английскую поговорку: «Если не можешь задушить врага — обними его покрепче...»

Сохранить дружественную приязнь Китая — не в этом ли цель пребывания здесь русской миссии? Не об этом ли напоминал отцу Иакинфу в письмах митрополит Подобедов? Он, конечно, не осудил бы Никиту Бичурина. Но и от Подобедова нет вестей. Отец Иакинф здесь один, оторванный от родины, от друзей. Все же, вопреки трудностям, он верит в правоту задуманного дела и будет продолжать свои занятия. Это принесло ему дружбу и доверие здешних людей. Его знают на многих улицах китайской столицы. Владельцы лавок, уличные ремесленники, завсегдатаи бродячих театров приветствуют русского даламу как доброго знакомого. В высоком сухощавом прохожем, одетом в китайское

платье, узнают русского вероучителя, бог которого обитает в Северном храме. Так пекинцы называли православную церковь, переделанную из буддийской пагоды, которую еще император Канси подарил верным албазинцам.

Служитель русского бога не похож на заморских дьяволов, утверждают те, кому приходилось беседовать с отцом Иакинфом. Он вступает в разговоры не для того, чтобы убеждать людей в совершенстве своего вероучения, как это делают другие иноземные монахи. Он не настаивает, что только его бог принес людям истину. Чаще, чем в собственном храме, его видят в храмах, где молятся пекинцы. Он не пропускает священных церемоний и в дни празднеств находится среди простых людей.

Отец Иакинф внимателен и приветлив с каждым. Осведомившись о здоровье почтенных родителей и старших братьев, спрашивает у купцов, как идет торговля, хвалит изделия ремесленников. Зато, когда, любезно откланявшись, он отходит, люди говорят:

— Человек надежный, правильный.

Простолюдины проявляют к нему особенное дружелюбие. Когда отец Иакинф выходит из русского подворья, разносчики фруктов и сладостей догоняют, крича:

— Прошу вашего внимания, почтеннейший! Разрешите побеспокоить вас!

Дружески улыбаясь, они достают из корзины блестящее, словно покрытое лаком, яблоко или нежнейшую сочную грушу и просят отца Иакинфа принять гостинец.

— Благодарю почтенного купца! — отвечает архимандрит и хвалит сад, в котором выросли такие удивительные фрукты. Конечно, он никогда не ел более сладких и сочных плодов.

Православный далама старается не ошибиться в правилах учтивости. Если он хочет узнать имя того, с кем беседует, осторожно спрашивает:

— Еще не спросил ваше...

И никогда не произносит слово «имя», что было бы верхом невоспитанности.

Древние обычаи не позволяют ни при каких обстоятельствах называть имя человека, если только нет желания унизить его. В летописях, в книгах, бумагах запрещается употреблять письмена, обозначающие имена святых и государей. Нельзя громко произнести имя Сына Неба даже тогда, когда возносится в честь него молитва. Чтецы еле слышным шопотом называют в храме имя императора. Правда, двести лет тому назад этот обычай нарушил богдыхан Жэнь-ди, велев в молитвах читать свое имя громко и ясно, дабы боги хорошо расслышали его.

Следуя заветам старины, простой народ стал видеть нечто недостойное, унизительное в произношении имени человека. Это стали допускать только в обращении к низшим и младшим. Назвать по имени могут император своих подданных, родители — детей, старшие братья — младших, господа — своих слуг. Во всех остальных случаях это сочтут неучтивостью, незнанием приличий. Поэтому письмо начинают не с обращения, а со слов «лежу у ног ваших», людей пожилых называют почтеннейшими, ученых, лекарей, художников, писателей, учителей зовут сяньшэн — преждерожденный.

Но чужеземный этикет и обычаи следует чтить. Потому к иноземцам обращаются по имени, но произносят лишь первый слог, прибавляя лаое, что означает — господин. Имя отца Иакинфа звучит здесь — И-лаое.

...На улице Лю ли чан у книжных рядов отец Иакинф давно свой человек. Стоящие у входа торговцы приветствуют его низкими поклонами. Видно, каждый не прочь залучить к себе этого покупателя. Когда он появляется там, уже издали слышно:

— Грустим, не видя вас!

На что он также учтиво и любезно отвечает:

— И я тоже...

Лавки здесь не украшены пестрыми зовущими вывесками. Но ничто из самых прекрасных товаров не притягивало к себе отца Иакинфа так властно, как то, что предлагают прохожим скромные вывески на этой улице. Они обещают высшие радости, утехи духа, которые дарят слова философов, плоды ученых размышлений, игра поэтического воображения.

Все это собрано здесь в десятках, сотнях томов, переплетенных в самую прочную кожу и шелк. А на какой прекрасной бумаге все отпечатано, украшено рисунками и заставками знаменитых рисовальщиков!

«Не проходите мимо, почтенные и мудрые, — взывают вывески, — коснитесь хотя бы одной из книг, что смиренно предлагают вам здесь, ибо какую бы вы ни открыли, что-нибудь да почерпнете полезное!»

И русский далама шел от лавки к лавке, где его драгоценному вниманию предлагали только что полученные книги и умоляли взглянуть на новинки, которые должен оценить его тонкий вкус. Ведь он не из тех, кто невнимателен, у кого «цу синь», сердце грубое. Нет, об И-лаое говорили: «Русский далама мудр и умеет правильно, как истинный ученый, глядеть в книги».

Обойдя ряды Лю ли чана, отец Иакинф заходил в крайнюю, скромно украшенную лавку, из глубины которой

поднимался сутуловатый, с седой редкой бородкой человек. На иссеченном морщинами лице молодо сверкали узкие прищуренные глаза

— Пожалуйте, давно жду вас!

В ответном обращении отец Иакинф всегда добавлял «почтеннейший сяньшэн». Он называл так уважительно книготорговца Ма Цзы-гуана учителем потому, что этот старый человек бескорыстно помогал ему читать книги и писать иероглифы.

С первых дней отличил отец Иакинф небогатую лавку Ма Цзы-гуана. Владелец ее никогда не зазывал к себе покупателей, он был не из тех, которые видят в продаже книг обычную коммерцию.

Ма Цзы-гуан любил книги. Когда покупатель уносил их с собой, он, казалось, грустил.

В начале знакомства отец Иакинф с помощью Алексея сказал Ма Цзы-гуану, что стремится читать книги, которые покупает, но не знает, сумеет ли научиться этому. Книготорговец отвечал, что он, недостойный, желает успеха благородному и просвещенному посетителю и с доброй улыбкой заметил:

— Стремящийся к вершине достигнет ее.

Позже, когда православный далама уже обходился без переводчика и Ма Цзы-гуан помогал ему добираться до смысла все новых и новых иероглифов, он услышал от книготорговца предание о том, как были изобретены в Чжунго письмена. Когда-то живший на месте нынешней провинции Шаньси зоркий Цан Се заметил на берегу реки черепаху с красным панцырем, испещренным темными извилистыми линиями. Смелая мысль пришла в голову Цан Се. Нельзя ли подобными знаками изобразить понятие? Первые письмена Цан Се начертил на песке, а потом вырезал их на дереве. Как гласит предание, волнение охватило небо и землю. На небесах радовались, что с письменностью к людям придет поэзия и музыка, утвердятся законы, родятся науки и искусства. А в царстве теней плакали души умерших, горюя, что с письменностью расплодятся небылицы, лживые россказни, начнутся суды и тяжбы.

Первые письмена люди вырезали на бамбуковых дощечках. Потому-то древние сказания о прошлом Чжунго и называются бамбуковой летописью.

Но недаром боялись в царстве теней, что письменность породит смуты и тяжбы. Две тысячи лет тому назад император Цинь Ши объединил разрозненные княжества, враждовавшие удельные владения в могучую империю и приказал обвести ее границы Великой стеной.

Удельные князья, противники Цинь Ши Хуанди, роптали, они были недовольны новшествами, лишившими их власти, они утверждали, что властитель пошел против предков, воля которых записана на бамбуке. И тогда император приказал сжечь все древние летописи. Он сохранил только хронику своей династии Цинь.

— Однако нельзя уничтожить то, что запечатлели письмена, — продолжал рассказ Ма Цзы-гуан. — Пять тысяч лет назад были утверждены восемь гуа, восемь письменных знаков, затем были созданы знаки, составившие систему письменности, действующую и поныне. Хотя Цинь Ши приказал закапывать живыми тех, кто прятал старые книги, нашлись люди, которые не побоялись страшной казни и, замуровав в стене, сберегли для потомков священную книгу Шу цзин — Древнюю историю Китая. Из ста глав на почти истлевших страницах сохранилось немногим более половины. Девяностолетний ученый Фу-шэн по памяти дописал еще двадцать девять глав. И книга Шу цзин продолжала служить людям, рассказывая о событиях в империи на протяжении тысяч лет.

Смолкнув, Ма Цзы-гуан положил морщинистую руку на толстые тома в шелковом переплете. Вот она, Шу цзин, Древняя история Китая.

— Много веков, — снова заговорил книготорговец, — прошло, пока грубые изображения предметов, какими были первые вырезанные на дереве знаки, превратились в иероглифы, подобные написанным на страницах Шу цзин. Возблагодарим за это наших предков, ибо нет такой мысли, которую не могли бы запечатлеть завещанные ими письмена. — Он опять помолчал и затем с чувством произнес: — Буду счастлив служить посохом мудрому русскому, желающему подняться к вершинам знаний!

Ма Цзы-гуан любил прибегать к поэтическим образам, потому что был не только книготорговцем, но имел также звание ученого первой, низшей, степени. Он был сюцай — усовершенствующий дарования. Давно, еще юношей, он сдал экзамен на звание сюцая. Рьяно принялся молодой ученый за изучение классических книг, из которых многие следовало затвердить наизусть для экзамена на вторую степень учености и получения званий цзюй жэнь — избранного человека. Но вдруг нежданные горести свалились на сюцая. В семье стали умирать родственники. Друг за другом ушли к предкам дед старшего дяди, потом сам дядя, затем мать, отец, наконец мачеха. После каждой из этих смертей полагалось соблюдать траур. А в дни траура нельзя делать многих вещей, в том числе жениться и держать экзамены.

Годы траура разрушили честолюбивые мечтания Ма Цзы-гуана. За это время некоторые его сверстники, даже обладавшие менее блистательными способностями и прилежанием, уже получили степени цзюй жэнь и цзиньши — весьма ученый. А один достиг высшей степени — ханьлин — ученейшего, что, как известно, открывает дорогу к самым важным должностям в государстве.

Ма Цзы-гуан не боялся экзаменов, его память без труда хранила страницы древних и новых текстов. Когда бы его ни спросили, он мог слово в слово повторить все сказанное великими учителями, их беседы, советы, изречения. Ему ничего не стоило написать стихотворение на любую заданную тему. Он не боялся остаться один со своей памятью в каморке, куда запирают экзаменующихся. Да, да, не удивляйтесь, запирают, словно узников! И чтобы все было честно, даже одежду будущие ученые надевают особую: ни подкладки, ни складок, где можно скрыть клочок бумаги с готовым сочинением. Лепешки, которые они берут с собой в каморку (ведь там пребывают немало времени), режут на куски, чтобы в них нельзя было пронести исписанных листков.

Итти на испытание можно только с чистой совестью. Если человек безнравствен или преступен, он потеряет присутствие духа. Нельзя иметь на душе даже пустячного греха. Ступать надо медленно и осторожно, чтобы не раздавить ни одного живого существа: ни муравья, ни самого жалкого червя. Опасно сделать и неловкий жест: а вдруг повредишь какое-нибудь насекомое! Но самый страшный грех — это взглянуть на проходящих мимо женщин, подумать о легкомысленных обитательницах чайных домиков.

Этот грех не грозил Ма Цзы-гуану. Он мечтал только о нежной Ли И-та, с детства предназначенной ему в жены. Они выросли вместе и любили друг друга. Ли И-та терпеливо ждала дня свадьбы, откладывавшейся из-за траура, а когда он окончился, верная невеста умерла.

Ма Цзы-гуан не смог оправиться после этой потери. Все ему опостылело. Юношеские мечтания о славе, о высоких должностях уже не манили его. Он повзрослел, многое понял. Стать чиновником — к этому стремятся люди молодые, жаждущие выгодных должностей. Но еще тысячу лет тому назад Бо Цзюй-и, любимый поэт Ма Цзы-гуана, назвал чиновников лисами, которые «пьяны всегда и сыты».

Поэт негодовал:

Налог непосилен
Для множества нищих дворов.
Крестьяне без пищи
На сотнях бесплодных полей.

Кто, как не чиновники, виноват в этом? Не зря говорится в народе: «Чиновники, посылаемые для истребления саранчи, вредят народу не менее, чем саранча».

Ма Цзы-гуан не добивался ученых степеней и не сделался чиновником. Он мог стать учителем в школе, но не чувствовал в себе способностей воспитателя: боялся, что будет недостаточно строгим и начнет повторять любимые стихи, вместо того чтобы твердить с детьми правила морали и философии, изложенные в Сань цзы цзин — «Троесловии», книги, с которой начинается обучение школяров.

И он стал книготорговцем. Это не приносит ему больших барышей. А зато с ним всегда его друзья — философы, мудрецы, поэты. Он любовно произносит их имена, перечисляет их творения.

— Напрасно проживший много лет, — так называл себя Ма Цзы-гуан, — счастлив, что русский вероучитель, которого справедливо зовут человеком истинным и прозорливым, просит рассказать о тех, кто создал великую, многовековую китайскую литературу.

Воодушевляясь, Ма Цзы-гуан пересыпал речь цитатами, изречениями, стихами. Он доставал древние заветные списки. Это не для продажи — это реликвии, которые он собирал и хранил.

Шицзин — книга песен, самых древних песен, сложенных народом. Конечно, бумага этой книги куда моложе самих песен. Их пели очень давно, когда каждая провинция Срединного государства была самостоятельным княжеством, а тому минуло уже три тысячи лет. Шицзин... Первоучитель Кун-цзы сказал: «Если жители какой-либо страны незлобивы, покладисты, искренни и добры, дайте им Шицзин».

В этих песнях народ рассказывает о себе, о своих обычаях, о прошлой жизни, о мире и войне. Здесь молитвы, которые возносят при жертвоприношениях, гимны в честь мудрецов, учивших жизни, героев, защищавших родную землю.

Вот пергамент, на котором напечатана поэма «Вопросы к небу». Это создание Цюй Юаня, поэта-изгнанника, который еще две тысячи лет тому назад спрашивал небо, почему люди обречены на горести и страдания. Всюду в Чжунго известны стихи Цюй Юаня. Уже много веков повторяют в народе и строки из «Скорби о Цюй Юане», в которой поэт Цзя И оплакал горестную участь своего собрата.

Доставая с полок книги, Ма Цзы-гуан любовно листал шелестящие страницы. Бесчисленны и разнообразны творения великих поэтов древности. Книготорговец читал русскому даламе фу — стихи строгих размеров, сяоя — причудли-

вые, прихотливые по ритму песенки. В них говорилось о горести разлуки, о красоте полей, рек, рощ и гор Чжунго. В радостных сун — песнопениях, в величественных цы — гимнах — славили поэты своих героев, их бессмертные подвиги. В монотонных лэй и ай оплакивали умерших, возносили к небу красноречивые вэнь — молитвы, обращенные к предкам.

— Вот книга стихов поэтов Танской династии, — Ма Цзы-гуан раскрыл тяжелый том. — Сто лет назад, когда отмечалось тысячелетие Танской эпохи, издали эту книгу. Непревзойденно творчество танских поэтов, у них до сих пор учатся, имена их называют с благоговением. Поэт Бо Цзюй-и, живший тысячу лет назад, был прозван Лэ-тянем — Радующим небо. Поэт читал свои стихи сначала простым людям. Если произведение было им понятно и близко, тогда позволял печатать. Бо Цзюй-и жалел бедняков; они говорят в его творениях:

С наших тел
Сдирают последний лоскут!
Из наших ртов
Вырывают последний кусок!

Трудно остановить почтенного книготорговца, когда он говорит о своих любимцах. Но русский далама умеет слу-

шать, и Ма Цзы-гуан просит разрешения прочесть еще одно стихотворение Бо Цзюй-и.

— Мой почтенный посетитель молод, он в расцвете сил, — Ма Цзы-гуан бросает взгляд на черную бороду, на смуглое лицо отца Иакинфа, — но и он когда-нибудь станет немощным, борода и виски его побелеют. Встречая весну, он вспомнит стихи Бо Цзюй-и:

Растаял снег
Под теплым дуновеньем.
Раскрылся лед
Под греющим лучом.
Но растопить
Весне не удается
Одно лишь только —
Иней на висках.

Великий лирик создал и незабываемую «Песнь о бесконечной тоске». Вот как звучит заключительная строфа этого произведения, рожденного истинным вдохновением:

Перед разлукой меня уверяя,
вновь говорил о любви он своей.
В этих словах есть клятва. О ней
два лишь сердца наши знают.
В месяц седьмой и день седьмой
был он со мной.
В полночь ту не было больше людей,
слышавших звуки наших речей.
Вместе в небе хотели мы с ним
парой крылатых птиц летать.
Мы на земле хотели стать
парою веток с корнем одним.
Небо и Земля долговечны, но все же —
время придет и погибнут тоже...
Жалоба эта длинна-длинна,
и никогда не прервется она.

Ма Цзы-гуан сложил томики поэтов и взял несколько книг с другой полки. Как драгоценность, переворачивал он страницы своих реликвий.

— Несравненный Суян Сю, историк и поэт, говорит здесь об искусстве. Его язык отточен и изыскан. «Цветистый ум», «Узорчатый рот» — называют его. Ему и сейчас подражают молодые ученые. Когда кого-нибудь из них хвалят, говорят: он пишет, как Суян Сю или Ли Ши-чжэн, научный трактат которого — «Исследование о цветах и деревьях» — звучит, как поэма. А вот сочинение ученого

и поэта Ян Сюна, жившего в эпоху первой династии Хань. Желая похвалить творчество лучших стилистов, мастеров слова, говорят: «Это достойно литературы Ханьской эпохи». Ян Сюн довел искусство слова до совершенства. «Нанизыватель жемчуга» — зовут его.

— Сяо шо, романы и рассказы... Вот они, — указывает Ма Цзы-гуан на пестро раскрашенные тома, занимающие отдельную полку в лавке. — Некоторые называют их литературой для черни. Но высокочтимый друг может поверить мне, что признающие лишь изысканные стансы на самом деле зачитываются романами, написанными обычным народным, живым языком. Как часто умоляют меня достать рукопись романа Цао Сюэ-циня «История камня», или, как ныне называется это замечательное произведение, «Сон в красном тереме». Почему оно остается только в рукописи? Автор умер в бедности, не успев напечатать роман... Достоуважаемый русский друг интересуется содержанием? Моих ничтожных способностей недостаточно, чтобы передать поэтическую красоту сказочной истории. Впрочем, уступаю настояниям. Коснусь хотя бы темы...

...Когда-то давно-давно два монаха, буддийский и даосский, странствуя по земле и в небесных краях, нашли камень яшму, которому судьба предначертала воплотиться в человека.

История этого камня началась, еще когда божественная Нюй-ва приводила в порядок вселенную, пострадавшую от неистового разрушителя Гун-гуна. Тогда, чтобы заложить пролом в небосводе, Нюй-ва собрала тридцать шесть тысяч пятьсот один камень. Но оказалось, что она собрала один лишний. Вот этот лишний камень, побывав в божественных руках, вдруг обрел чудесную силу.

Камень попал во дворец Красной зари к бессмертной Вспугнутой мечте. Он полюбил там траву бессмертия по имени Пурпуровая жемчужина. Он стал орошать ее сладкой росой, отчего Пурпуровая жемчужина превратилась в прелестную девушку. Прелестную и благодарную, ибо она пообещала камню, ставшему юношей, заплатить своими слезами за ту сладкую росу, которую он для нее собирал.

Так возникла семья Цзя.

Читатель узнает судьбу трех ее поколений. Их возвышение, приход к власти, обогащение. Герой романа, знатный Цзя Бао-юй, влюбился в свою двоюродную сестру Линь Дай-юй — красивую, хрупкую девушку. Но их браку препятствуют старшие в семье. После многих злоключений юношу заставляют жениться на другой, а Линь Дай-юй умирает от горя. Тогда несчастный Цзя Бао-юй становится монахом.

Все в семье Цзя обманывают и грабят друг друга. Из-за коллекции вееров один из мужчин совершает убийство, а женщина для получения взятки нарушает брачный союз любящих молодых людей, отчего они кончают самоубийством.

Князья мира духовно вырождаются. Но возникает свет новой жизни... Вот о чем говорит роман «Сон в красном тереме» великого Цао Сюэ-циня.

«История камня» написана недавно. А кто же в народе не знает старинных романов, кто не зачитывался историей Троецарствия, повествующей о героях высоких добродетелей, чья храбрость и отвага рушила козни злодеев? Кто мог оторваться от страниц «Речных заводей» — удивительной повести о крестьянах-повстанцах! А вот «Цзинь-гу цигуань», рассказы нашего времени. Художники любят украшать их рисунками. — Ма Цзы-гуан перевернул страницу с веселой яркой картинкой.

— О, эти рассказы, — заметил русский ученый, — я имел удовольствие слышать. Они действительно занятны и увлекательны. Их рассказывал мне слепой шошуди — уличный сказитель, который часто заходит в русское подворье. Что касается Троецарствия, то высокочтимый сяньшэн доставит великую радость, позволив приобрести это замечательное сочинение, прочесть которое я весьма давно мечтаю.

— Подобная просьба может доставить лишь величайшее счастье, — ответил книготорговец. — Ну, конечно, она будет исполнена.

Ма Цзы-гуан подошел к полкам, на которых сложены толстые тома в темных переплетах.

— А это, — он взял один из фолиантов, — исторические записки, в которых далеко видящий, прозванный Отцом истории Сыма Цяня продолжил Ши цзи, древнюю историю.

Владелец книжной лавки вопросительно взглянул на архимандрита. Не устал ли высокочтимый русский друг? Разрешит ли он продолжить беседу?

Нет, нет! И-лаое умоляет продолжать. Беседуя с сяньшэном, окунаешься в кладезь драгоценнейших знаний. Давно стремится И-лаое проникнуть в историю Чжунго. Не соблаговолит ли мудрейший сяньшэн объяснить, как создавались столь полные и обширные летописи, в которых, как успел заметить неумелый ученик, изложены самые древние происшествия и памятные события?

Ма Цзы-гуан рад, что может удовлетворить любопытство своего высокоученого посетителя. Ведь в молодости он был одним из переписчиков в Государственном докладном комитете, куда поступают все сведения о том, что совершается

в восемнадцати провинциях. Туда же доносят и о происшествиях в иноземных владениях. Шестьдесят два придворных историографа из потока этих донесений, сообщений, указов, докладов составляют дневник государства. А потом ученые мужи вносят туда свои замечания, объясняют древние обычаи, указывают географическое положение стран, о которых идет речь, приобщают рассуждения нравственного характера, толкуют происшедшие события.

Стемнело на улице, а русский далама все не покидал книжной лавки. Он листал записи славного Отца истории, вглядывался в каллиграфические начертания. Медленно от угла правой страницы вел пальцем вниз и вслух читал иероглифы. Когда он смолк, Ма Цзы-гуан сказал:

— Столь великие достижения заставляют почитать русского друга как истинного ученого!

— Ученик своими успехами обязан сяньшэну, — отвечал отец Иакинф. — Разрешит ли друг учености и в дальнейшем прибегать к его помощи, ибо недостойный ученик задумал перевести Ши цзи на язык своей страны?

Книготорговец положил руки на раскрытые страницы летописи Сыма Цяня.

— Да будет так! — Старческий голос звучал торжественно. — Почитающий великих предков не только своей, но и чужой страны обладает добродетелью самых просвещенных людей! Мои знания, — продолжал Ма Цзы-гуан, — только трава, а мудрость русского друга — ветер. Зачем же спрашивать траву, хочет ли она служить ветру? Она может только склониться перед ним...

Глава десятая

Курильня опиума возле храма Совершенного спокойствия ничем не отличалась от других подобных заведений. Снаружи висела завлекательная, обещающая высшие наслаждения вывеска. В каждой комнате стояли узкие деревянные лежанки — каны, покрытые камышовыми цыновками, с жесткими валиками-подушками в изголовье.

Отцы Аркадий и Серафим стали завсегдатаями этой опиумокурильни. Недостаток средств все больше и больше затруднял приятелей. Начав когда-то с посещения курилен, предназначенных для состоятельных людей — купцов, чиновников и офицеров, они скатились до этого домишки, где предавались пагубной страсти бедняки: ремесленники, кули, нищие...

Яфитский, которому начальник духовной миссии поручил разыскать и привести в русское подворье обоих пастырей, уже обошел несколько мест, где, по его предположению, могли проводить время иереи. Но ни в питейном заведении «Источник прекрасного», ни в игорном доме «Белый лотос» их не оказалось. Оставалось последнее прибежище, где пастыри пропадали, когда им удавалось правдами или неправдами раздобыть толику денег.

Яфитский переступил порог курильни, и его сразу обдал тяжелый сладковатый запах, которым все здесь было пропитано. Причетник в нерешительности остановился и огляделся вокруг. Старый, худой слуга неслышно приблизился к вошедшему.

— Сколько трубок прикажет подать господин? — безучастно спросил он и указал рукой на свободное место по соседству с каном, на котором дремала нищая старуха.

Яфитский отрицательно мотнул головой, и слуга молча отошел.

Кроме старухи, в комнате находились еще кули и пожилой солдат. Оба в рваной одежде, еле прикрывающей худые тела. Никто из курильщиков не глядел друг на друга и не бросил взгляда в сторону вошедшего. Здесь никто не мешал другому непрошенным вниманием.

Не раз причетник спрашивал завзятых курильщиков, почему они, отказывая себе во всем, идут на любые жертвы, чтобы раздобыть «заморской грязи» хотя бы на трубочку или даже лишь на одну-другую затяжку. Одни отвечали, что начинали курить, мечтая вызвать в душе особые радости; другие — в надежде заглушить огорчения; третьи — чтобы просто одурманиться. Во всех случаях курильщики быстро становились рабами губительной привычки.

Яфитский смотрел на кули, с трудом уместившего свое длинное тело на коротком кане. Наверно, этот человек обладал большой силой. Ширококостные руки с мозолистыми ладонями, развитая, как у атлета, грудь, раздутые икры крепких ног. Один из тех, кто готов всегда стать в упряжку тележки, чтобы за гроши отвезти в любой конец города двух и даже трех седоков. Отвезти бегом...

Взгляд кули погасший. Движения вялы. Дыхание так слабо, что грудь еле вздымается под лохмотьями одежды. Он еще не курил...

Но вот слуга поставил перед ним на столе лампу с открытым горящим фитильком, блюдце со смолистым шариком опиума, длинную железную иглу, бамбуковый чубук с глиняной трубкой, похожей на перевернутую чашечку с небольшим отверстием, в которое может пройти только игла.

Заскорузлые толстые пальцы с неожиданной ловкостью подхватили на иглу смолку опиума, кули подогрел ее над пламенем лампы, скатал между пальцами, снова подогрел, опять скатал, пока катышек не стал быстро твердеть. Осталось лишь осторожно укрепить его над отверстием трубки и проколоть иглой. Наконец можно приступить к курению.

Кули давно ощущал на себе взгляд чужеземца, но не подавал вида, что его это заботит. А вот, приготовив трубку, он вдруг привстал с кана и обернулся к Яфитскому.

— Прошу, пожалуйста... — произнес он и протянул свою трубку.

— Нет, нет! Благодарю... — Яфитский встретился с прямым, усталым взглядом темноглазого человека, дарившего свое самое драгоценное — плод блаженных помыслов и награду за многочасовой мучительный труд.

Яфитский вошел в соседнюю комнату. И тут застоявшийся запах потных человеческих тел, тошная приторность опиума.

В полумраке еще различались люди, лежавшие на тесно поставленных канах.

— Взойди, отрок! И ты взалкал греховного зелья?..

Из угла донесся смех, прервавшийся долгим кашлем. Едва Яфитский сделал шаг, как послышался другой дрожащий голос:

— Явился, отрок, яко пчела мед сладкий от цветов собрать еси.

— Отец Серафим, прошу вас... Отец Аркадий...

Тщетно! Хриплая, дрожащая разноголосица из темного угла перебила, не дала продолжать.

— Бла-ажен муж, и-же, я-ви-ися на со-овет не-чести-ивых... — затянули пастыри, заглушая слова робкого обращения к ним.

В сумраке комнаты, в сизоватой, нависшей над канами дымке показались два исхудалых, желтых лица, искаженных гримасой, должной изображать усмешку. Яфитский отпрянул, бросился прочь, почти бегом миновал комнату, за ней другую... Выскочил на уже темную улицу и вдохнул свежий вечерний воздух. Да, страшно зелье, что везут в Китай заморские дьяволы!

...Большой колокол Сретенской церкви православной миссии бухнул в последний раз, и тяжелый призыв его поплыл над крышами домов.

Собственно, звонить даже не следовало, служить в храме не для кого: и немногие верующие перестали возносить здесь свои молитвы. Отец Иакинф находился один под высокими сводами храма. По случаю радостной вести об окончательном одолении врага отечества начальник миссии вознамерился побеседовать с причтом. А где же это сделать, как не в церкви, в которой так многое напоминает о далекой родине! Вот икона с потемневшим ликом Николая Мерликийского; она более века назад привезена албазинскими казаками. Образ архистратига Михаила, поражающего мечом сатану, в ризе из кованого серебра. Старые киевские мастера писали архистратига, а по воле судьбы образ его попал в Тобольск и оттуда в церковь на улице Дунцзи миссиян. Некоторые иконы писаны китайскими живописцами; святые на них изображены с узкими косыми глазами, в синих курмах с длинными рукавами, в которых так удобно греть руки в холодные дни.

В пустом храме сыро и неприглядно. Отец Иакинф зябко жмется в легкой черной рясе. Монашеская ряса, бархатная скуфья и нагрудный серебряный крест с распятием будто давят его и заставляют слегка горбиться. Заложив руки назад, он шагает от алтаря к притвору, где ктитор раньше продавал верующим тоненькие восковые свечи.

Вспоминаются на всю жизнь вызубренные в семинарии молитвы. Привычные, много раз повторенные слова из кондака блаженного Романа Сладкопевца: «Щедроты твоя даруй, возвесели силою твоею верные люди твоя, победы дая им на супостаты, пособие даруй твое: оружие мира — непобедимую победу».

Верная мысль. Да, пусть навечно останется непобедимой победа над Бонапартом и послужит защитой общего мира!

Но вот колебнулся еле мерцавший огонек свечи, и под сводом притвора метнулась огромная тень.

Вошел причетник и смиренно остановился возле иконы архистратига.

— Отец Иакинф! Они... — Яфитский безнадежно развел руками.

— Один явился... Рассеялась братия. Занялись, кто во что горазд. Ну что ж: «Всяко древо познается плодами его, ибо не снимут смокв с терновника и маслин с шиповника»... А ты как полагаешь?

— Истинно, отец Иакинф!

— Ну, пора отсюда... Вишь, и свеча догорает. Вскорости без воска останемся. Туго без пенсиона китайского. Последний раз в ямыне иностранных дел отказались выплатить пособие миссии. А много ли следовало? Ежегодно восемьсот пятьдесят пять рублей пятьдесят копеек серебром на все про все... Так-то!..

Архимандрит снял огарок с почерневшего, закапанного воском серебряного подсвечника и повернулся к выходу; за ним тихо, стараясь ступать на носки, последовал причетник.

— Береги, последний... — Архимандрит задул свечу, протянул огарок причетнику.

Яфитский замешкался, закрывая тяжелый замок двери: в церковь входили так редко, что замок совсем заржавел.

Третий день неистовствует вихрь над Пекином, мчит и крутит песчаные столбы, обрушивает их на дома и храмы. Вывороченные с корнями ивы и акации жалобно машут сломанными ветвями.

Ветер сбивает с ног. Невозможно открыть глаз, песок ослепляет, бьет в лицо, хрустит на зубах. Тучи желтых пес-

чинок оседают на крышах, забиваются в жилища, толстым слоем покрывают пол, вещи в комнатах. Никуда не деться от песчаной бури, гонящей на столицу горы песка, точно она хочет погрести под ними и улицы и площади.

Буря измучила людей. Когда же она окончится? Что думают об этом ученые из Астрономической академии? Флюгер на крыше ее обсерватории, кажется, сошел с ума, он кружится как исступленный. Не указывает ли это, что небо гневается? Пусть же всесильный хуанди Цзя Цин позаботится о восстановлении порядка!

Кто же, как не император, отвечает пред небесами за земные дела, печется о благополучии людей? А люди сейчас хотят одного — ясной, тихой погоды. Ведь солнце повернуло к лету, на исходе одиннадцатая луна.

Великий хуанди уже вознес благодарственное моление в честь окончания зимнего солнцестояния. Почему же буйствует ветер, почему грозит и жилищам, и садам, и даже людям? Ничто не предвещало бури, когда хуанди побывал в храме Неба и совершил преклонение пред жертвенником Небесному духу. Накануне подданные Цзя Цина любовались богато убранными слонами, на которых провезли к храму жертвенные сосуды. Величественные животные медленно шагали по улицам, и легкий ветерок шевелил пестрые опахала над их головами. Отовсюду бежали люди, чтобы взглянуть на слонов своего божественного повелителя. Но когда по тем же улицам пронесли в золоченом паланкине окруженного свитой императора, жители, дрожа за жизнь, попрятались по домам. Никому, кроме приближенных хуанди, не дано лицезреть его царственное чело. Воины, скачущие впереди кортежа, немедленно убьют дерзкого, осмелившегося показаться на пути Сына Неба. Ворота и двери в домах запираются, около них выстраивается караул. Не только окна, а даже переулки, выходящие на улицу, по которой движется процессия, завешиваются плотной тканью.

Хуанди Цзя Цин превзошел в осторожности своих предшественников. Никогда на безлюдных улицах не стояло столько стражи. Воины лучшего отборного маньчжурского корпуса! Спасут ли они императора? Можно ли знать, откуда грозит беда маньчжурскому владыке, откуда появятся братья Небесного разума или братья Белого лотоса — китайские патриоты, поклявшиеся свергнуть династию захватчиков-маньчжур. Самый ненавистный для них — нынешний хуанди Цзя Цин. Сластолюбец, кукла в руках своих слуг, хуанди разоряет страну, одаривая бесчисленных наложниц.

Конечно, львиная доля подарков идет в карманы императорских евнухов. Дорого это стоит народу!..

Следуя примеру Сына Неба, расточительствуют его родственники, князья, управляющие провинциями. Но и они живут в страхе. Они помнят, как крестьяне со знаменем Белого лотоса ворвались в покои шаньдунского губернатора. Восставшие убили обидчиков-чиновников, разгромили их поместья. С чиновниками-лихоимцами расправились и в других провинциях. Патриоты создают тайные общества, их можно найти повсюду. Они скрываются не только в провинциях. Братья Небесного разума проникают в императорский город. Когда в прошлом году хуанди Цзя Цин после жертвоприношения возвращался во дворец и его носилки остановились у входа в тронный зал, мститель, растолкав свиту, с ножом кинулся на Сына Неба. Если бы один из маньчжуртелохранителей не прикрыл собой императора, Цзя Цину пришлось бы встретиться с предками.

За принадлежность к тайным сообществам казнят мучительной смертью, душат, режут на куски. И, несмотря на это, братьев Небесного разума становится все больше. Несколько лет тому назад патриоты чуть не захватили власть. Вызванные с границ маньчжурские войска двинулись к столице. Маньчжур было много, а братья Небесного разума были плохо вооружены. В неравной схватке маньчжуры одолели восставших. Тяжелые испытания перенес тогда народ. Долго не прекращались казни патриотов. По всем провинциям хватали сочувствующих им.

Император Цзя Цин с тех пор живет в вечном страхе, ему везде мерещатся враги династии. Каких только мер он не принимает, чтобы обезопасить себя от покушений! Он приказал засыпать пруды во Внешнем городе, хотя они так освежали улицы во время летнего зноя. Но пруды были рядом с жертвенником Небу, вдруг мститель спрячется в прибрежных тростниках и во время жертвоприношения убьет императора! Теперь нет ни прудов, ни зелени, все выстлано диким камнем. А спасет ли это императора? Тщетная защита для того, кого не ограждает сердце народа. Не сказал ли Кун-цзы: «Государь подобен лодке, народ — воде. Вода поддерживает лодку, но может и опрокинуть ее».

Изречение это, как и многие другие, украшает стены императорского дворца. Часто ли глядит на эти иероглифы богоподобный Цзя Цин? Устрашенный бурей, свирепствующей над столицей, хуанди обнародовал указ. Вчера его расклеили на всех оградах, сегодня его можно прочесть в «Цзин бао». В лицемерном самоуничижении император взывает к подданным:

«С продолжением жизни умножились мои грехи и вины. Став надменным, я вызвал гнев Неба и навлек бедствие. Потому, с благоговением очистив душу и тело, я посетил храм духа Неба, чтобы принести моление. Стыд и трепет объяли меня, однако я не смог осениться милостью духа Земли. И я с благоговением снова молю августейшего духа снизойти и простить меня, изнемогающего под тяжестью скорби и раскаяния. Да, каюсь, возможно, я без должной проницательности вершил делами, определял к ним недостойных и был невнимателен к моим подданным. А среди выполняющих мою волю есть люди лукавые и несправедливые. Ныне я молю духа Неба разоблачить их, какие бы высокие должности они ни занимали. Пусть все находящиеся на службе государству, если они виновны, разделят со мной чувства страха пред гневом небесным».

А все же не чиновники-лихоимцы своими прегрешениями вызвали бурю. Да, да, виноваты вовсе не они! Хуанди в конце своего воззвания называет истинных преступников, навлекших бедствие:

«Ветер дует с северо-запада, — значит, там и надо искать возмутителей спокойствия, беглых мятежников, скрывающихся от правосудия. Буря продолжается, потому что их не обнаружили. Пусть все верноподданные возьмутся за поиски. Когда покушающиеся на порядок понесут кару, небо успокоится...»

Удалось ли очистить северо-запад от преступников, произведших потрясение в воздухе? Об этом не успели узнать. Буря прекратилась так же неожиданно, как началась.

— Как спокойно и тихо! — удивлялись люди, словно пробудившись после тяжелого сна.

Буря утихла, небо успокоилось. Не сотрясаются стены жилищ, не рвется в клочья прозрачная бумага, которой заклеены окна. Погожее морозное утро встречает жителей столицы. Только одна луна отделяет землю от прихода весны. Все же солнце во власти холода, оно ослепляет, но не греет. В пурпурном сиянии поднимается оно над столицей. Теперь можно рассмотреть, что натворила буря.

Скорей, скорей! Люди спешили покинуть жилье. Кто побогаче, кутался в теплые, отороченные мехом курмы, бедняки набрасывали на себя все свое жалкое одеяние.

Сколько вырванных, сломанных деревьев, снесенных ворот, опрокинутых оград! Но жалоб, причитаний не слышно. Нечего тратить время на пустые сожаления. Быстро подсчитываются убытки, и все уже за работой.

Каждого ждут дела! Каждый берется за свое дело!

Стучат молотки, лопаты ударяют о мерзлую землю. И город живет, как всегда, хлопотливый, деятельный, трудолюбивый. Тем, кто плотничает, столярничает, склеивает, починяет, сегодня работы много.

Немало бед натворила буря в русском подворье: частокол в саду повален, истерзанные акации распростерты на земле. А больше всего досталось старой деревянной колокольне. Ураган оставил от колокольни одни столбы, под которыми валяются на земле колокола.

Некому в русском подворье браться за работу, никто не спешит привести в порядок усадьбу миссии. Иереи не выходят из келий. На деньги, вырученные за часы с колокольни, они запаслись земными благами. Малые морозы, по китайскому календарю конец одиннадцатой луны, приходятся на 25 декабря — праздник рождества Христова. Пьяненький отец Нектарий пытался даже отслужить обедню. Но в миссии нет ни ладана, ни свечей: остатки их ушли на молебен в честь победы, одержанной над полчищами Бонапарта. Тому минуло уже два года, а все еще заезжие люди привозят вести о новых подвигах русской армии. Радостно слышать о том россиянам, оказавшимся далеко на чужбине.

Приятны поздравления китайских друзей, превозносящих могущество Российской империи. И это совершенно справедливо. Можно ли не гордиться тем, что ты сын народа, спасшего Европу от нашествия деспота? Примеры невиданной доблести показали русские войска. Изгнав врага с родных просторов, вошли в Париж и окончательно разбили Бонапарта.

Теперь уже недолго ждать. Вспомнят же, наконец, в Синоде о забытых в Пекине миссионерах. Пришлось им победствовать. Заложены земли, проданы церковные дома, имущество. Где уж тут до поддержания православия в помраченных душах албазинцев и привлечения в лоно церкви других заблудших овец!

— Да разве печется о сем архимандрит? Не только не пытается отторгнуть язычников от их ереси, сам конфуцианству и буддизму предается, — злопыхательствуют иереи, распивая подогретую, по китайскому обычаю, водку из сарацинского пшена.

Яфитский, забредший в келью отца Аркадия Булгакова, пригубил для праздника стаканчик. На пересуды отцов, рассердясь, возразил:

— Зачем клевещете! Архимандрит ученым занятиям предан. Не это ли церковь возвышает?

— Молчи, убогий! — зло бросил отец Аркадий. — Заступник какой! Надоел... Ужо получит по заслугам твой покровитель! Недолго ждать, скоро домой собираться. Поглядим, как будет ученый наш пастырь держать ответ перед Святейшим синодом.

Порывался не раз причетник раскрыть глаза начальнику миссии, предупредить, чтоб опасался наветов Булгакова. Но архимандрит и слушать не хотел.

— Знаю, все знаю! — отмахивался недовольно. — Оставь их, пусть тешатся, коли иной пользы обрести для себя не могут.

Не хотел отец Иакинф вмешиваться в дрязги, не хотел знать о пересудах и раздорах, которым предается братия. Отторгнутые от родины, лишившись поддержки, слабые разумом и духом, церковники впали в безделие, уныние, топили при случае тоску в вине. В ответе ли за это архимандрит? К голосу его, к советам не прислушивались. Отошел отец Иакинф от дел духовных, отдалился от братии. Все помыслы и силы посвятил ученым занятиям. Считает потерянным день, в который не узнал, не записал новое о народе и стране, к которой привязался.

Уже который год занят он переводами китайских сочинений на русский язык. По совету Ма Цзы-гуана начал с книг, составляющих основу китайской философии, правилам которой жители Чжунго обязаны следовать в делах житейских и в управлении государством. Книги эти — Сы шу, Четырехкнижие, и У цзин, Пятикнижие. В их томах, считают китайцы, заключена сущность всех наук. С текстов этих священных книг начинают обучение в школах, по ним дети привыкают разбирать письмена, твердят изречения оттуда на память.

Осмеливаясь дать совет русскому другу, Ма Цзы-гуан сказал:

— «Задерживающийся внизу быстрей доберется до вершины», — утверждают мудрые. Поэтому, если русский ученый желает вступить на первую ступень, ведущую к познанию истины, пусть раскроет этот том Четырехкнижия. Он содержит основу основ — учение величайшего из всех мужей Китая, мудрейшего Кун-цзы.

«Мудрейший Кун-цзы...» — повторяет про себя отец Иакинф. Философ, прозванный в Европе Конфуцием, или Конфуциусом. До рождества Христова с шестого века его слова в Срединном государстве служат законом.

— Ничего не может быть яснее, проще, мудрее слов Первоучителя, — продолжал Ма Цзы-гуан. — Он так говорил своим ученикам: «Древние правители, чтобы зажечь

в сердцах людей истинную добродетель, старались как можно лучше управлять государством. Чтобы лучше управлять им, они сначала устанавливали добрый порядок в семьях. Чтобы добиться этого, они старались самоусовершенствоваться, учились управлять движениями сердца, для чего воспитывали волю, развивали ум, проникали в суть вещей. Это возносит познания на вершину, воля становится совершенной, движения сердца подчиняются ей. А когда человек управляет движениями сердца, он избавлен от ошибок. Исправив самого себя, человек исправит семейный уклад, а когда в семьях царит порядок, государство хорошо управляется и мир процветает».

— А теперь да будет мне позволено, — учтиво продолжал книготорговец, — повторить слова мудреца из другого тома Четырехкнижия.

Ма Цзы-гуану не надо заглядывать в книгу, чтобы прочесть слова священных текстов. Он помнит их наизусть:

«Когда душа свободна от чувства радости, печали или гнева, она находится в равновесии. Когда эти чувства, рождаясь в душе, не переходят известных границ, они не нарушают равновесия. Мудрость и равновесие не терпят преувеличения. Тут спросили учителя: «Кого из ваших учеников вы предпочитаете?» Он ответил: «Один никогда не исполняет всего, что должен исполнить, другой всегда делает больше того, что требуется». — «Значит, — задали снова вопрос, — этот последний и есть лучший?» — «Нет, — сказал первоучитель, — одинаково плохо делать больше, чем нужно, и меньше, чем нужно».

— Не следует думать, — помолчав, заметил Ма Цзы-гуан, — что Первоучитель был слишком требователен к людям. Да благоволит мой друг выслушать такие слова мудрейшего: «...тот, кто, несмотря на возможность наживы, остается справедливым, кто не бежит пред лицом опасности, кто, дав обещание, держит его, хотя бы протекли годы, тот, я нахожу, уже достаточно совершенен».

Но к себе учитель был строг, он обладал добродетелью всех великих людей — скромностью. В первом томе Четырехкнижия мы находим беседы и рассуждения Кун-цзы. Вот что сказал он однажды: «Мудрец соблюдает четыре правила, а я, Кун-цзы, никогда не мог соблюсти даже одного. Я не воздал еще моему отцу того, что требую от сына, государю то, что требую от его подданных, старшему брату того, что требую от младшего. И для друга моего не сумел первым сделать то, что сам желал получить от него...» В другой раз услышали ученики: «Вы думаете, что я обладаю обширными познаниями? Это неверно. Но когда меня спрашивает чело-

век самого скромного звания и как бы невежественен он ни был, я обсуждаю с ним вопрос так же, как сделал бы это в беседе с мудрейшим».

Совершенствование человека длится всю жизнь, утверждал Первоучитель. «Когда я был юношей, — говорил Кун-цзы, — мой ум был склонен лишь к учению. К тридцати годам мой дух стал тверже. В сорок лет я начал меньше сомневаться. В пятьдесят лет я познал некоторые решения Неба. К шестидесяти годам мое ухо стало способным лучше слышать истину. В семьдесят лет я смог следовать за желаниями сердца, не всегда нарушая справедливость».

Книготорговец умолк. Тогда, стараясь быть не менее учтивым и почтительным, отец Иакинф ответил:

— Еще на родине я слышал о великом китайском философе, почитаемом далеко за пределами Чжунго. Я радуюсь, что смогу постичь мысли мудреца на языке, которым он говорил, проникнуть в письмена, начертанные им. Во всю меру своего слабого, ничтожного разума я буду вникать в священные тома Четырехкнижия, а также Пятикнижия, которое, как слышал, проверено самим Кун-цзы.

— Слова просвещенного русского подсказаны высшей мудростью. Не соблаговолит ли он начать изучение Пятикнижия с Ли цзы — Книги этикета?

Ма Цзы-гуан подошел к полке, где хранились его реликвии.

— Мой любознательный друг, — сказал книготорговец, раскрыв книгу, — не раз удостаивал меня чести, спрашивал о том или ином обычае нашего народа. Его высокое внимание останавливали многие предметы. Ли цзы ответит на вопросы, задаваемые моим почтенным другом. Я радуюсь, что русский ученый прочтет эту книгу, потому что он первый из известных мне чужестранцев без предубеждения и злых помыслов хочет узнать правду о людях Чжунго. Поэтому я отношу к нему слова Кун-цзы: «Тот, кто справедлив, внимателен и почтителен, пусть обучается по Ли цзы».

Ма Цзы-гуан осторожно, как драгоценность, положил книгу на прилавок.

— Это очень древнее сочинение. Ученые, создавшие его, жили три тысячи лет тому назад. Вместе со многими старыми книгами Ли цзы была сожжена по приказу одного из императоров, желавшего, чтобы люди забыли о том, что было до него. Но и эта книга восстановлена по памяти. В ней русский друг найдет все правила, которым должны следовать китайцы. В Ли цзы сказано о рождении, воспитании, браке, семье, отношении к главе государства, наконец о смерти и погребении.

Если русский друг разрешит мне прочесть начало Книги этикета, он поймет, в чем ее сила. «Не нарушайте справедливости ради наживы. Перед лицом несчастья не пренебрегайте обязанностями. Не старайтесь одерживать верх в мелких распрях. Во время разделов требуйте только то, что вам следует. Не утверждайте, если сомневаетесь, а когда уверены, то, выражая свое суждение, из скромности говорите так, как будто это мнение другого, старейшего и более умудренного».

Ли цзы учит, как управлять государством. Она требует справедливости. Если лицо высокопоставленное совершило преступление против подданных, говорится в книге, судья должен вынести приговор, не считаясь с саном виновного. Даже если государь станет настаивать на отмене наказания, судья должен повторить приговор. Если государь все же захочет простить виновного, пусть судья отдаст приказание привести приговор в исполнение. Тогда на обращение государя судья может сказать: «Очень жаль, но преступник уже казнен!»

Тут Ма Цзы-гуан с грустной усмешкой взглянул на своего собеседника.

— Предвижу, что мой достопочтенный друг хотел бы возразить. И если, будучи учтивым, он молчит, то пусть позволит мне, недостойному, выразить его мысль: «Разве все судьи в вашей стране так же неподкупны, как учит Ли цзы? И так ли часто заглядывают ваши правители в священные книги, которые они обязаны знать наизусть?» Нет, не буду убеждать, что в Срединном государстве царствует справедливость, которой требуют древние книги. Русский друг, живя среди народа Чжунго, не отгораживается от него и, замечая хорошее, не проходит мимо плохого. С прозорливостью ученого, конечно, он поймет, чему мы обязаны нашим совершенством и откуда идут наши несовершенства...

...Не раз удары в гонг, которыми городская стража извещает пекинцев о рассвете, заставали отца Иакинфа еще бодрствующим. В слюдяные оконца кельи заглядывали первые солнечные лучи, а он все сидел над страницами древних книг.

Нашел ли он в этих книгах то, чего искал со дня приезда сюда?..

Глава одиннадцатая

— Хао! Чжэнь хао! Чжэнь, чжэнь хао!..

Крики восхищения издает толпа, собравшаяся у подмостков бродячего театра, каких немало в Пекине. Зрители не пожалели чохов, а кто побогаче — и серебряных лан, чтобы поглядеть на своих любимцев.

Актеры уже показали «Веер с цветами персика». Сейчас идет любимое в народе представление «Колебание золотой ветви». С древних времен его показывают в китайских театрах, но и сегодня эта пьеса волнует так же, как тысячу лет назад.

Отец Иакинф из гущи толпы наблюдает происходящее на сцене. По деревянным подмосткам движется юная красавица в шелковом золотистом одеянии. Волосы, зачесанные высоко над ее головой, поднимаются, как крылья птицы. Их украшают цветы лотоса, приколотые булавкой-бабочкой. Драгоценные камни сверкают в серьгах, кольцах и браслетах. Красавица горестно плачет, поднимая к небу гибкие руки.

Как поверить, что эту принцессу играет мужчина! Но ведь сцена почти открытая, и можно было видеть, как актер гримировался, украшал голову париком и гребнями, румянил щеки, белился, сурьмил брови. Играть на сцене могут только мужчины. Но так было не всегда. Когда-то и жрицы искусства покоряли своей игрой зрителей. Их звали «сестры грушевого сада», потому что первая школа сценического искусства, созданная любителем игр и развлечений императором Сюань-цзуном, была окружена грушами в тенистом дворцовом парке.

Из поколения в поколение «братья и сестры грушевого сада» передавали тайны своего искусства. Но случилось,

утверждает предание, вдруг один из богдыханов влюбился в «сестру грушевого сада» и сделал ее первой женой своего гарема. Опасаясь повторения соблазна, молодая богдыханша уговорила мужа запретить женщинам появляться на сцене. И с тех пор все женские роли стали исполнять мужчины.

...Оркестр, игравший без перерыва, зазвучал громче. Вступили все его инструменты, зазвенели серебряные колокольчики, застучали по каменным плиткам бронзовые молоточки, загудели бамбуковые дудки.

Музыканты звонили, звенели, гудели, ударяли, дули, водили смычками, когда на сцене появился Сын Неба.

Затем барабанная дробь оповестила о появлении императрицы. Она распростерлась ниц перед супругом:

— Пусть властелин живет вечно!

— Приблизься! Зачем ты явилась?

— О Вечный властелин! Принц Го-ай обидел наше дитя. Прошу наказать виновного.

Расписанное красной краской лицо актера, изображавшего императора, говорило о смелости властелина. Актер вобрал голову в плечи. Зрители поняли: император гневается.

Отец Иакинф не впервой был в китайском театре и постиг условность происходящего на сцене. Герой, одержимый страхом, потрясает руками над головой, охваченный яростью — втягивает голову в плечи, у честного человека лицо окрашено в красный цвет, у обманщика — в белый, храбрец появляется с желтым лицом. Не только характеры и душевные состояния героев имеют на сцене свое условное выражение. Хлыст в руках актера указывает на то, что он скачет верхом на лошади, весло — едет в лодке, две длинные палки — находится в паланкине, и он может появиться только с дощечкой, на которой нарисованы иероглифы, говорящие о том, что события происходят в храме, в крепости или на море.

Зрители спектакля «Колебание золотой ветви» замерли в ожидании. Во дворце назревали бурные события. Сын Неба сурово допрашивал дочь. Принцесса отвечала нежным детским голосом:

— Мой высокородный муж принц Го-ай, находясь в опьянении, отвратил от меня свои взоры и призвал наложницу...

Зрители возненавидели принца за грубость к такому прелестному существу. Когда молодой супруг появился на сцене, негодующие крики заглушили его голос. Но лицо принца всех успокоило. Оно было разрисовано красной краской:

значит, муж принцессы честен и верен. Благородный принц заговорил:

— Известно, нет большего греха, чем нарушение сыновьего благочестия. Однако принцесса из гордости не почтила своим посещением очага моих родителей в торжественный день поминовения памяти деда. Гнев ослепил меня. И хотя моя жена яшмовый лист на золотой императорской ветви, мне пришлось поколебать ее...

Музыка оркестра звучала тревожно. Шум, крики зрителей становились все громче. Теперь все сочувствовали принцу. Он взывал к мудрости Сына Неба.

Никто в толпе не упускал ни одного взгляда, ни одного жеста актеров. Принцесса оставалась безмолвной и недвижимой. Зато говорили ее глаза, они глядели то надменно, то со страхом и сделались покорными и смиренными, когда Вечный властелин провозгласил свое решение:

— Главное — сыновья почтительность. Лучше заставить жену сто раз плакать, чем вызвать хоть один вздох родителей. Успехи оружия, развитие торговли, процветание наук и искусств придают царствованию блеск, но счастливым его делает только сыновья почтительность! Увы, моя дочь пренебрегла законом, завещанным предками. Ныне повелеваем ей отправиться к родителям мужа и дорогими подарками вымолить прощение. А принца Го-ай за его добродетели награждаю знаком высшего княжеского титула — шапкой из красного атласа.

— Хао!.. Чжэнь хао! Эй!.. — крики восторженных зрителей слились в единый хор, потухший в грохоте оркестра.

«Та-аа-ааамм...» — протяжный гул гонга возвестил начало нового представления.

И вмиг на сцене возник город. Впрочем, сцена оставалась почти пустой. Зрителям предлагалось в своем воображении увидеть стены города — о нем сообщили иероглифы на флажке в руке актера.

— Покажут пьесу «Хитрость с пустым городом». — Старик, стоявший рядом с отцом Иакинфом, не скрыл довольной улыбки. — Сегодня роль Чжугэ Ляна исполнит сам Лань Лин-ван.

Отец Иакинф поймал себя на мысли, что тоже готов насладиться не раз виденным спектаклем. Пьеса, созданная еще в эпоху Троецарствия, живет по сей день и попрежнему вызывает трепетный отклик в сердцах зрителей. Почему столь вековечно представление о полководцах древности? — задался вопросом отец Иакинф. Не потому ли, что черты ушедших героев — их находчивый ум, отвага, верность воинскому и гражданскому долгу — поныне отличают народ

Чжунго? Недаром обычно миролюбивые китайцы так искусны в ратных делах.

Спектакль унес зрителей в далекие времена, когда на обломках Первой империи шла ожесточенная борьба между княжествами Вэй и Шу. На стороне Вэй выступил знаменитый полководец Сыма И, против него сражался великий стратег Чжугэ Лян.

По приказу Чжугэ Ляна войска покинули столицу княжества, чтобы зайти в тыл врага. Город остался незащищенным, когда пришла весть о приближении огромной армии Сыма И.

Старый актер Лань Лин-ван славится в роли Чжугэ Ляна. У него черная до пояса борода и красное лицо. Красиво лежат складки его парчовой, с драгоценными украшениями, одежды. С каким достоинством несет он на голове тяжелый позлащенный венец. Все говорит о том, что это суровый, честный воин, облеченный доверием владыки княжества.

— Как он идет! Как красиво идет... — старик, стоящий рядом с отцом Иакинфом, не отрывает взгляда от сцены. Тонкий ценитель театра восхищается «тигровым шагом» актера Лань Лин-вана. Так на подмостках театра двигаются только военные люди — то скользят тихо и вкрадчиво, то застывают на месте, а то внезапным, легким рывком бросаются в сторону.

Чжугэ Лян говорит проникновенным высоким голосом, почти фальцетом, его голос волнует душу, заставляет внимать каждому слову:

...Солдаты Сыма И быстро наступают, очень быстро наступают!

Все говорят, что Сыма И командует как бог.

Я ныне тоже вижу — поистине он может заставить уважать себя и чтить.

Но что я говорю? — «уважать и чтить» — подумать только!

Ведь все офицеры и солдаты отосланы мной самим.

В городе остались лишь инвалиды и больные.

И если Сыма И с войсками подойдет сюда, не значит разве это, что нас голыми руками могут захватить?

Да, голыми руками захватить...

Только тигр мог совершить такой легкий, далекий прыжок. Поистине актер Лань Лин-ван превосходно вошел в роль прославленного Чжугэ Ляна. Как грозно он потрясает руками, втянув голову в плечи, — значит, его охватила сильнейшая ярость. Но гнев не ослепляет испытанного в битвах стратега. Наверно, он замыслил что-то хитроумное. Иначе

зачем приказал собрать инвалидов, оставшихся в городе, и принести вина?

— Чудесно поет! — на этот раз и русский далама не удержался от восхищения вслух.

Скользит «тигровым шагом» Чжугэ Лян, поет высоким, проникновенным голосом:

Войсками я командовал десятки лет.
Всегда был осторожен, и вот ошибся.
А хоть задумал с городом пустым я хитрость,
Но сердцем неспокоен.
На небо взирая, молю бессмертный дух явить мне помощь!

Хитроумный Чжугэ Лян! Едва послышался гром барабана армии Сыма И, он приказал распахнуть все городские ворота, а инвалидам старательно мести улицы.

А сам стратег взял лютню и на виду врагов, под звучный перебор струн запел нежную любовную песнь.

Отважный полководец Сыма И подскакал на коне к воротам города (хлыст в руке свидетельствует, что он всадник) и остановился, опешив. Нежные звуки лютни и беспечное пение Чжугэ Ляна приводит его в смущение.

Изумленный полководец поет:

Ворота все открыты! В чем причина?
Наверно, Чжугэ Лян хитрит.
На хитрость эту нельзя попасться...

Подозревая ловушку, Сыма И спешит уйти от стен осажденного города. Тем временем хитроумный стратег собирает свои войска.

Сыма И узнает, как ловко обманул его противник. Но поздно снова наступать на город. Остается лишь честно признать свою оплошность. Полководец поет заключительную арию с таким искренним чувством и таким богатством интонаций, что его голос, то замирающий, то берущий самую высокую ноту, кажется неземным.

О Чжугэ Лян... О Чжугэ Лян!..
Поистине ты храбр.
О Сыма И... О Сыма И, твоя ничтожна храбрость!
Да, Сыма И не то, что Чжугэ Лян...

Грохочут кожаные большие и малые барабаны, звенят медные, бронзовые и серебряные колокольчики, плывут звуки шелковых струн цинь, гудят двадцатиствольные бамбуковые шэн, выстукивает мелодичную дробь молоточек по нефритовым плиткам бяньцина.

— Хао! — восклицают довольные зрители.

— Чжень хао... Браво! — слышится голос русского далай-ламы и, по европейской привычке, он громко хлопает в ладоши.

...Девять лет бродил отец Иакинф по Пекину, выслушивал церемонных чиновников, беседовал с купцами об их делах и с особенным вниманием наблюдал ремесленников, мастеривших все необходимое для быта и украшения жизни. Красивейшие изделия из дерева, металла, фарфора, бумаги изготавливают ремесленники Срединного государства.

Часто какой-нибудь искусник сам лепит модель, приготовляет сплав бронзы и отливает из него статуэтку, которую гравирует резцом, покрывает эмалью и золотит. Другой не только заготовляет дерево для паланкина, но и придумывает узор, чтобы выткать по нему материю, обивает ею паланкин изнутри, а снаружи украшает замысловатой резьбой и покрывает лаком.

Сильные, умелые руки у этих усердных тружеников! И если для работы не хватает рук, то пользуются ногами. Некоторые действуют пальцами ног с величайшей ловкостью, почти как пальцами рук. А каковы орудия их труда? Они извечны и, не меняясь, переходят из поколения в поколение. Чудеснейшие узорные шелка китайские ремесленники ткут на прадедовских станках. Тончайший фарфор делают способами многовековой давности. Ну, а чего стоят допотопные каменные чаны, в коих тяжеленной палицей размельчают бумажное волокно!

Что же будет, если эти трудолюбивые люди оставят свои древние орудия и возьмут совершенные инструменты? Что, если неутомимое трудолюбие и искуснейшие руки усилить могуществом машин? Что, если...

Да разве можно представить, чего достигнет народ, освободившийся от косности и рутины в труде! Отец Иакинф помнит примечательные слова францисканского миссионера патера Доминика:

— Счастье, что желтокожие и поныне работают так же, как и тысячи лет назад, теми же простыми, грубыми орудиями древности. Если же они позаимствуют и освоят нашу технику, то превзойдут Европу во всех ремеслах.

Францисканский миссионер и начальник православной миссии встретились на улице. Мимо прошел бродячий кузнец, неся свои орудия на бамбуковом коромысле. С одного его плеча свисали мехи и наковальня, с другого — корзина с ломом железа, мешок с углем, жаровня и горшок из глины.

— Omnia mea mecum porto! Все мое ношу с собой! — насмешливо заметил патер Доминик, указывая на кузнеца,

согнувшегося под тяжестью ноши. — Зачем он еще таскает горшок?

Отец Иакинф объяснил недогадливому патеру:

— Кузнец наполняет горшок водой, чтобы охлаждать свои раскаленные изделия. В этом же сосуде бедняк готовит скудный обед: сушеные водоросли и горсть риса.

Вот тогда-то францисканский патер и произнес:

— Отсталость желтокожих — залог нашего благоденствия!

Как живут и трудятся китайские крестьяне, чье сословие в Чжунго считается весьма почтенным, отец Иакинф тоже знал. Весной он обычно отправлялся в Гао ли ин, местечко невдалеке от столицы, где с давних времен русская миссия владела землей и сдавала ее в аренду. В миссии хранился договор:

«...Сии нижепоименованные арендаторы земли при деревне Гао ли ин, по прозванию Чжан Фу, Чжан Юнь-лун, Чжан Дэ-чэн и почтенный Шэнь И, обязались каждого года десятой луны первого числа отдавать присланному российскому человеку 22 тысячи больших чохов полными связками».

В урожайные и в неурожайные годы приносил посланец из деревни плату за аренду, крестьянские гроши, медные деньги с квадратным отверстием посредине, нанизанные на веревку.

Любопытствуя все увидеть своими глазами, еще в начале своего пребывания в Пекине отправился отец Иакинф в местечко Гао ли ин, а оттуда в деревушку, находившуюся на невысоком пригорке. По китайскому календарю значился день Ясности. Но приятное наименование оказалось обманчивым. Едва путешественник приблизился к полям деревеньки, как небо вдруг нахмурилось и хлынул ливень. Потоки воды обрушивались на землю. В одно мгновение размыли они глинистую почву. Дорога исчезла; казалось, земля поплыла вместе с дождевыми потоками. Вода прорвалась через ограждения, защищавшие поля, размывала их, грозила смести посевы. Но люди, трудившиеся у своих полосок, словно не замечали холодных струй. Как солдаты на посту, крестьяне отбивали атаки разъяренной стихии. Они восстанавливали глиняные ограды, заделывали бреши землей. Смельчаки бросались в бурные воды и ставили щиты, отводя яростные потоки.

Иззябшим, мокрым, изнемогающим, но не сломленным в борьбе с бурей, — таким увидел отец Иакинф арендатора Чжан Фу. Часто потом наблюдал архимандрит на поле, с каким усердием Чжан Фу вспахивал свой клочок. Соху

К стр. 138.

тащил вол. У крестьян Срединного государства лошадей почти не встретишь. Только богатые люди держат их для верховой езды и вьюков. А на полях работают волы. Тяжкая работа! Напирая руками и грудью на соху, Чжан Фу медленно двигался по полю. За ним, меся голыми ногами желтый ил, шел сын Фын У. Рядом, на другом клочке земли, Чжан Фу умудрился вырастить кукурузу, а между ее рядами огурцы и арбузы. Когда поспевала кукуруза, он снова перепахивал поле и засевал его гречихой.

Так же покорно и терпеливо трудились на своих клочках все крестьяне деревушки. И так же под вечер усаживались всей семьей вокруг низкого столика. Куайцзы мелькали в руках и детей и взрослых, спешивших утолить свой голод вареной капустой, редькой, брюквой или другими овощами. Затем они пили бледнозеленый настой чайных листьев. Если к этому добавлялся рис с соей, значит был праздник. А кусок свинины в плошках знаменовал не только праздник, но и ниспосланный небом обильный урожай или счастливое семейное событие — рождение мальчика, свадьбу дочери.

В тесной фанзе Чжан Фу только одна комната, но и в ней, как в покоях зажиточных людей, чтили память предков и возжигали светильники перед деревянным ящиком, украшенным все теми же пятью иероглифами: «небо», «земля», «император», «предок», «учитель». И крошечный садик перед фанзой, обсаженный ивами, охраняла священная ширма, без которой не обходится ни одно жилье в Чжунго. Это хрупкая защита, но она оберегает от дурного глаза и носящихся в воздухе злых духов.

Фын У ходил в деревенскую школу и заучил наизусть страницы, в которых изложены для школяров основы Четырехкнижия и Пятикнижия. Этим ограничилось образование Фын У. Сейчас мальчик вместе с отцом шел за сохой на поле гаоляна. Но в памяти хранилось то, что три года вместе с другими деревенскими ребятишками повторял он вслед за учителем:

«Существуют три основные силы — небо, земля, человек.

Существуют три источника света — солнце, месяц, звезды».

Сначала Фын У научился разбирать иероглифы «человеколюбие», «справедливость», «верность обрядам», «прямота», «честность». Учитель утверждал, что в этом заключается пять главных обязанностей человека.

Школяров учили не только грамоте, им преподавали правила поведения дома и в местах общественных, показывали, как надо кланяться и стоять, когда отвечаешь старшим, как подходить и удаляться, когда беседа окончена. Фын У по-

мнит, как ныла его спина от бесконечных приседаний и поклонов.

У старого учителя на носу громоздились огромные очки, мешавшие ему видеть, так как стекла в оправе были обыкновенные, мутные и к тому же поцарапанные. Но очки — признак учености. Возле учителя на столике лежала длинная бамбуковая трость, назначение которой не вызывало сомнений: прививать школьникам любовь к знанию. В углу висела доска с классическим изречением: «Великая истина не может проникнуть в грубые уши». Из другого угла глядело устрашающее изображение бога мудрости.

На столике рядом с бамбуковой тростью лежала книга, из которой учитель черпал мудрость, чтобы передавать ее ученикам. Из поколения в поколение она служила первоосновой знаний. Дети начинали обучаться грамоте по книге, излагающей философское учение Конфуция.

Хор детских голосов громко повторял слова книги о том, что императора и чиновника должна соединять справедливость, отца и сына — любовь, мужа и жену — согласие. Изо дня в день повторяли школяры, что добродетель старшего брата — снисходительность, младшего — уважение, что младшие должны почитать старших, что от государя ждут добрых дел, а от его слуг — верности.

За первой классической книгой следовала вторая, третья... Школьникам надо было запомнить, пусть не вникая в смысл и существо, все изречения древнего классического Пятикнижия.

Переводя Пятикнижие на родной язык, отец Иакинф делал записи в своей тетради:

«...на основах священных книг незыблемо утверждены китайская религия и философия, кои через школьное воспитание проникали во все сословия народа, подобно как вода через поры губки.

Священные книги сохранили мысли философов, повторявших: «Хорошо управлять народом — это значит просвещать его». «Обогати народ, а потом обучи его», — требовал Кун-цзы, потому что, пояснял его ученик Мэн-цзы: «Если люди сытно едят, носят теплую одежду, живут в удобном жилище, но лишены образования, они уподобляются животным».

Просвещение народа... О сем особливо заботился Первоучитель Кун-цзы. Однако как противоречивы его заветы! Озаряя мир истинным учением, он, как и другие древние философы Срединного государства, внушает веру в темное и непостижимое.

В сочинениях древних философов четырехлистнику

и черепахе приписываются таинственные свойства провидения будущего. Людям советуют: «Бросьте стебли четырехлистника на стол, и вы прочтете в их прихотливом рисунке то, что ожидает вас завтра, выплесните тушь на щит черепахи, высушите на солнце, и пятна скажут вам, будет ли успешно начатое вами дело или вас постигнет неудача».

Задолго до европейцев китайские астрономы знали законы движения небесных тел и причину лунных и солнечных затмений. Но это не мешало им вещать:

«Во время соединения луны и солнца в первый день второго месяца солнце затмилось, что весьма печально. Луна затмевается, солнце тоже. Судьба людей достойна сожаления».

И люди ждали всяческих несчастий, а возможно, и гибели мира. Им оставалась лишь надежда, что небо внемлет моленьям жрецов, совершающих обряд спасения светил и отвратит беду, нависшую над землей.

Когда начиналось затмение, в Ли бу — Палате обрядов — происходила священная церемония спасения луны и солнца.

Закон предписывал выполнять обряд точно и неуклонно. В заранее высчитанный час жрецы в темных одеяниях появлялись в церемониальном зале и, оборотясь к светилу, девять раз простирались ниц. Главный жрец Палаты обрядов опускался на колени, держа в руках горящие благовонные свечи. Попеременно падали ниц все чины Ли бу. Едва лик светила начинал скрываться, в зале и на улице раздавались звуки литавр, гонгов, бубнов. Они прекращались, лишь когда солнце или луна вновь показывались во всем своем блеске. И сразу же улицы оглашались радостными криками: люди благодарили Небо. Оно оказалось милостивым и всемогущим: спасло светило от страшного чудовища.

В течение многих веков в первый день среднего весеннего месяца Астрономическая академия представляла на утверждение императору календарь. Год разделялся на двенадцать, а високосный на тринадцать месяцев, указывались два поворота солнца — летнее и зимнее, два равноденствия, определялось время восхода и захода солнца в разных частях империи, время рождения луны, полнолуния и четвертей месяца. И тут же, строго по числам, отмечались дни счастливые и несчастливые, указывалось, что следует и чего не следует предпринимать в каждое из этих чисел.

В своих предсказаниях астрономы толковали волю духов:

— Названному месяцу соответствует число восемь, кислый вкус и горький запах. Жертвы в эту луну следует приносить духам внутренних дверей, предпочтительно селезенку домашних животных.

— В эти дни детям следует давать имя Ся Си.

— Рыбы, змеи, жесткокрылые относятся к этому месяцу.

Отец Иакинф перелистывал календарь, отпечатанный для подданных империи на китайском, маньчжурском, монгольском языках. Чтобы люди знали, как размещать посевы в поле и предметы в доме, календарь сообщал, какие из духов в этом году будут распоряжаться на юге, севере, востоке и западе, называемых сторонами красной птицы, черной черепахи, синего дракона, белого тигра.

А вот особо отмеченный день, в который Небо оказывает людям свою милость. В этот день следует жениться и выходить замуж. Отмечены числа, когда можно ждать прощения дурным поступкам, ибо во время этого поворота луны Небо снисходит к людским слабостям. Названы и другие любимые Небом числа, к коим надо приурочивать важные дела.

Как просто и легко утешиться в горе, которое на тебя свалилось, примириться с обидой, которую тебе нанесли! Значит, день был неблагоприятен или злые духи окружили тебя.

Отодвинув календарь, отец Иакинф потянулся к перу.

«Столь странную смесь просвещения и равнодушия к нему наблюдаем повсюду. То поражаемся совершенству законодательства, то удивляемся слабости законов и глубоко укоренившимся суевериям. И все же... — архимандрит решительно макнул перо, и оно быстрее побежало по бумаге, — к удивлению европейских политиков, Китай существует более четырех тысяч лет как государство, между тем как самые памятники существования многих сильных в древности царств давно изгладились с лица земли. Сие государство с незапамятных времен и доныне постоянно удерживает первоначальный свой язык и письмена, древнюю религию и обычаи, свои уложения, изменяемые во времени в маловажном, но неизменные в основании.

Миролюбие людей Чжунго соперничает с трудолюбием. Крестьяне, в поте лица добывающие плоды земные, полуголодные ремесленники и кули, купцы, пекущиеся о развитии своей торговли, — они помышляют о мирном бытии.

И об этом заботился мудрейший из мудрых — Кун-цзы. «У меня, — говорил он ученикам, — нет личного горя, тревога всех людей — моя тревога. Глядя на четыре стороны света, я представляю в своем воображении врага, готового обрушиться для нашего погубления. Разве этого не достаточно, чтобы возбудить скорбь? Печально не иметь силы уврачевать существующее зло и отвратить грядущие бедствия! Поищем же вместе средства для избавления от ужас-

ного зла...» И тогда один из учеников Кун-цзы сказал так: «Я желал бы быть верным подданным добродетельного и просвещенного императора, который пользовался бы моими слабыми талантами для хорошего управления страной. Я стал бы учить народ исполнять пять главных обязанностей: человеколюбие, справедливость, верность обрядам, прямоту, честность. Тогда нам не пришлось бы опасаться врагов, держать войско и укреплять города стенами и рвами. Тогда военное искусство и подвиги храбрецов заменило бы строгое исполнение гражданского долга. Тогда камень со стен крепостей взяли бы для домов жителей, а из железа оружия изготовили бы орудия цветущего земледелия».

«Ты прав, — ответствовал философ ученику. — Если бы все это свершить, то люди упрочили бы свое благоденствие, перестали проливать кровь, растрачивать свои богатства, терять время в напрасной тонкости переговоров. Государство тогда стало бы жилищем добродетельных, образованных, трудолюбивых, счастливых людей».

— Ну, а как происходит в действительной жизни? — Отец Иакинф поднялся из-за стола, на котором лежали фолианты классических произведений, составленные им словари, исписанные тетради.

Архимандрит крупными шагами мерял келью. Она ничем не отличалась от обычного китайского жилья. На оклеенных бумагой стенах, как у всех подданных Срединного государства, в бедных лачугах, в богатых покоях, лавках, гостиницах и в императорском дворце висели выписанные на цветных таблицах изречения мудрецов, слова поэтов, пословицы и поговорки. Одна из таблиц попалась на глаза:

«Если у тебя украли вола, не ходи в судебный ямынь, а то украдут другого».

Отец Иакинф усмехнулся. Эти слова будят далекое воспоминание: судебный ямынь, сухая беда, шир-шар... При упоминании шир-шар пугливо вздрагивали люди в далекой чувашской деревушке. Пусть уведут у тебя последнего коня, обложат непосильными налогами, не в очередь забреют в солдаты сына, но только избавят от сухой беды, шир-шара, суда! Так говорили в Шинери. И здесь повторяют то же самое. Лучше стерпеть обиду, понести убытки, только бы не предстать перед судом. Драконы и тигры не так страшны, как судейские чиновники, — это слышишь часто.

В судебном ямыне могут повернуть закон как заблагорассудится. А законов множество, и они грозят суровыми карами. Виновный даже в самых малых преступлениях подвергается ударам короткой бамбуковой тростью. В более серьезных случаях применяется длинный толстый бамбук.

За особо тяжкие преступления закон предписывает задушить преступника, отсечь голову, выставить ее в деревянной клетке напоказ и даже разрубить тело на части!

Свод законов перечисляет шестьсот сорок четыре преступления, караемые смертью. Не может быть помилован тот, кто изменил отечеству, покусился на жизнь родственников императора, убил отца или мать. Не подлежит прощению детоубийца и тот, кто отказывается кормить своих родителей, тот, кто женился, будучи в трауре по родителям.

Не прощаются самые малые проступки против верховной власти. Здесь предусмотрено все. Казнят лекаря, неправильно приготовившего снадобье для лечения императора, чиновника, перепутавшего доклады, которые идут на подпись Сыну Неба, повара, испортившего яства для стола хуанди.

Самое мягкое наказание — канга. Тяжелая деревянная колодка, замыкающаяся вокруг шеи, так велика, что руки не могут достать лица. Приговоренный выставляется на позор около места совершения преступления. Он не может утолить голода и жажды, согнать с лица назойливую муху. В таком случае приходится надеяться лишь на помощь сердобольных прохожих.

Однажды внезапный дождь застиг отца Иакинфа на улице. Укрываясь от водяного потока, он поспешил под крышу ближайшего дома. То был судебный ямынь. Дождь грозил затянуться, и, чтобы скоротать время, отец Иакинф вошел внутрь здания. Там рассматривалась тяжба торговца, обвинявшего соседа в клевете.

Толстый мандарин с хрустальным шариком на круглой шапке, что означало принадлежность к пятому классу чиновников, произносил приговор.

Заметив вошедшего, судья прервал течение своей речи, чтобы приветствовать его как почетного гостя.

— Счастлив, видя, что вы находитесь в расцвете здоровья... — любезно обратился он к русскому даламе, известному своей ученостью и доброжелательством, что так несвойственно «чужеземным варварам».

— Прошу извинить, что прерываю благоухание вашей мудрости и справедливости, — с не меньшей витиеватостью ответствовал отец Иакинф.

Довольный мандарин продолжал речь перед коленопреклоненными истцом и ответчиком.

— Почтенный Чен-ю утверждает, будто уважаемый торговец рыбой А-чжао продает несвежий товар. Я лично пользуюсь услугами уважаемого А-чжао, и мне ясно, что слова его соседа — сущая неправда. Следовательно, он оклеветал невинного, что является тяжким грехом.

— Клеветник! — закричал А-чжао и угрожающе придвинулся к соседу.

— Ябедник! — вспыхнул Чен-ю и в гневе даже подпрыгнул на коленях. Однако неудобная поза, в которой находились истец и ответчик, помешала новой ссоре.

— От имени высшей справедливости приговариваю почтенного Чен-ю к шестидесяти ударам длинной бамбуковой тростью! — закончил мандарин свой приговор. Лицо судьи расплылось в вежливой улыбке, которая равно относилась к истцу, ответчику и всем присутствующим в суде.

Два рослых стража немедленно подхватили Чен-ю и повели его в соседнее помещение для безотлагательного исполнения приговора.

Но почтенный Чен-ю не допустил «потери лица»!

Для человека, которому дорога его репутация, нет большего позора, чем «потерять лицо». Из поколения в поколение передают «лицо», оберегают и заботятся о его сохранении, в нем честь, гордость, достоинство рода. Если существует угроза «потерять лицо», все уловки хороши ради его спасения. В частных и даже государственных, а особенно в дипломатических делах сохранение «лица» имеет решающее значение. Дары Сыну Неба, подносимые чужеземными послами, посему иначе не принимаются как под названием «чун», что означает дань вассала своему повелителю. На языке дипломатов «чун» — символ превосходства над иными державами. Кровью миллионов людей выписан этот символ: ради «сохранения лица» богдыханы вели жесточайшие войны.

Каждый как умеет защищает свою честь и достоинство.

С чувством исполненного долга судья глянул на изречение, висевшее над его креслом: «Справедливость — закон мира, а вежливость — правило, смиряющее дурные страсти». Выполняя и вторую часть мудрого завета, судья сделал русскому даламе любезный жест, предлагая полюбоваться экзекуцией. Но не успел отец Иакинф поблагодарить за приглашение, как приговоренный выскользнул из рук стражей и беспрепятственно скрылся. Состоятельный Чен-ю нашел себе заместителя, бедняка, печальное ремесло которого — терпеть битье за чужие вины.

К длинной низкой скамье, около которой нетерпеливо переминался палач, подошел пожилой человек. Он молча распластался на досках скамьи. Один из стражей тотчас схватил его за косу, а другой за ноги. Палач немедля приступил к своему делу. Разве может быть нарушен закон, освященный веками!

Быстрые удары бамбуковой тростью посыпались на человека, принявшего на себя чужое наказание. Не впервые замещал он желающих сохранить свое «лицо». Печальный опыт помог ему и сегодня. Конечно, он посулил палачу половину своего вознаграждения, поэтому большая часть ударов приходилась по доскам скамьи, а не по телу. Тогда он кричал еще громче... Высшая справедливость могла торжествовать.

«...Нет такой стороны жизни, которую не предусмотрели бы законодатели династий богдыханов. Все же злоупотребления среди чиновников и других власть имущих столь укоренились, что уж никто не борется с этим явлением».

Отец Иакинф отложил перо, прервал записи. Сегодня сосредоточиться трудно: в келью ослепительными огнями и шумом врывалась улица.

«Бум!.. бум!.. бум!..» — били барабаны. Литавры рассыпались звенящими брызгами. Плыли в воздухе долгие медные зовы гонгов. Огненные снопы ракет взлетали в небо, чтобы низвергнуться золотым звездным дождем.

Праздник, посвященный «Правящему небесами, землей и тысячами духов», справлялся весело и пышно. Пагоды и кумирни, дворцы с нефритовыми входами, дома из серой глины украсились фонарями.

Фонари бумажные, шелковые, перламутровые, из прозрачных цветных камней... Фонари в виде людей, коней, драконов, тигров, китов, акул, аистов, ласточек, лотосов, роз, хризантем... Фонари красные, желтые, зеленые и золотые.... Фонари в окнах, у дверей, на деревьях, шестах, колесах стояли, висели, кружились.

Город светился огненной россыпью.

Отец Иакинф закрыл тетрадь, выбрал курму поновее, оделся и вышел из кельи. Улица сразу оглушила его своим шумным разноголосьем. Он остановился у резного столба, увенчанного огромным фонарем — солнцем. Мимо плыла толпа, поток ее был нескончаем.

Долго стоял здесь отец Иакинф и глядел так, точно хотел вобрать и навсегда сохранить в памяти простодушие, веселье и праздничную радость множества людей.

Глава двенадцатая

— Если Си-лаое согласен...

Студент русской миссии Иван Сипаков не любил околичностей. И, признаться, устал от витиеватых, казалось, бесконечных словоизлияний.

— Да, да, согласен! — резко произнес Сипаков и, чтобы скрыть раздражение, встал из-за стола. Плечистый, с курчавой русой бородкой, глубоко сидящими голубыми глазами, сейчас потемневшими от скрытого волнения, студент странно выглядел рядом со своим собеседником. За годы пребывания в Китае Сипаков не изменил ни облика, ни привычек. Порыжевший от времени, с широким козырьком, картуз сидел на его голове чуть набекрень. Старенькая поддевка и сапоги с голенищами гармошкой придавали ему вид мещанина из какой-нибудь казанской слободки.

Трудно было предположить, что этот простецкий волжанин еще в семинарии отлично овладел западными языками и выказывал изрядные способности не только к богословским, но и к светским наукам. Особенно отличался он прилежанием к литературе, отчего прослыл словесником и пиитом. Однако светского лоска, несмотря на все старания, Сипакову не хватало.

Зато Чжао Цин-ши, чиновник ведомства внешних сношений, был вполне благовоспитан и учтив до тонкости. Привык он к общению с чужеземцами, любил щегольнуть знанием их обычаев и показать себя человеком передовым.

— Согласие Си-лаое принять предложение Цзунли ямыня — радость для сердца... — Чжао Цин-ши протер очки

и приятно осклабился, обнажив ряд сжатых зубов. Точь-в-точь так протирал свои очки и улыбался недавно посетивший ямынь некий англиканский миссионер.

— Да, согласен отправиться совместно с почтенным Чжао Цин-ши в столь длительный путь. Итак, — Сипаков глянул на разложенную на столе карту, — мы должны отправиться на восток...

— В сторону Синего дракона, — подтвердил будущий спутник.

— Затем по реке Байхэ до Тяньцзиня, оттуда на юг.

— В сторону Красной птицы...

— Через Шанхай морем до города Фучжоу.

Заманчиво!.. Карта обещала неизведанные впечатления. Взгляд охватывал безграничные просторы земли, сжатые дюймовым масштабом.

— Си-лаое владеет многими языками, его помощь в сношениях с иноземцами неоценима. А какое счастье заимствовать разум у человека высокого ума!

— Заимствовать разум? Почтенный Чжао Цин-ши имеет в виду мои скромные знания?

Чиновник в знак согласия так низко склонил голову, что франтовская коса с вплетенными нитями черного шелка коснулась пола.

«Угодливый человек бьет в гонг попутному ветру», — вспомнил Сипаков китайскую поговорку и отвернулся. — «Эх, кабы отправиться с кем-либо другим, а не с этим франтом в очках!»

Стремление повидать новые места в стороне Синего дракона и Красной птицы победило неприязнь к будущему спутнику. Только поэтому Сипаков оторвал взгляд от манящей карты и сказал:

— Почту за счастье поскорее начать путешествие.

— Ваше лестное согласие выше небесной добродетели, — сладкоголосо ответствовал почтенный Чжао Цин-ши.

Сипаков молча поклонился и торопливо вышел на улицу. Предложение отправиться переводчиком в дальнее путешествие взволновало его, хотя и не было неожиданным. Ведомство внешних сношений давно обращалось к отцу Иакинфу с подобной просьбой, но русский далама не счел возможным взять на себя обязанности, несвойственные его сану и положению. Он обратил внимание Цзунли ямыня на студента миссии — знатока западных языков. Иван Сипаков согласился помочь своими познаниями. Но для какой цели? Это пока оставалось темным, почтенный Чжао Цин-ши всячески увиливал от объяснения.

Из письма Сипакова с пути отцу Иакинфу от 10 ноября 1818 года.

...Едва наш невеликий караван миновал предместья столицы, как потянулись поля. Они совсем не похожи на наши безлюдные, безмолвные нивы, где только ветер колышет колосья да раздаются голоса птиц.

Беспрестанно встречаются люди; они идут пешком, едут на ослах и мулах, или их несут в паланкинах другие люди. Торопятся кули с корзинами овощей и садками живой рыбы, а то попадается тачка с горой домашнего скарба, сверх которого навалены какие-то ящики и сундуки, и все это тащит один человек.

Незаметно мы проехали верст двадцать пять до города Тунчжоу. Сначала показалась его полуразрушенная стена и ворота, затем покривившаяся от времени кумирня, узкие улицы с низкими домами, лавками и харчевнями. Всюду народ; одни заняты делом, другие гуляют с цветами в руках, а некоторые, преимущественно старики, носят на палочках привязанных нитками птичек. Какое невинное удовольствие, и не есть ли оно свидетельство нежной натуры жителей Срединного государства!

Байхэ — первая судоходная река, увиденная мною в Китае. Множество лодок с лесом мачт загромоздили ее неширокое русло. Лодки разгружаются, принимают на борт товары и пассажиров, уходят, приходят, обгоняют друг друга между узкими берегами, — и все это совершается в замечательном порядке, притом никто не понукает другого, не ссорится.

А издали подходят все новые и новые лодки и баржи, по виду похожие на наши волжские, и их также тянут бечевой с помощью лямки. На первый взгляд, лямки здесь неудобны, ибо мягкую петлю волжских бурлаков заменяет доска, к краям которой привязана бечева. Китайские бурлаки кладут эту доску на грудь. Но, оказывается, при ходьбе она меньше давит и стесняет дыхание, чем мягкая лямка. Умно и заслуживает подражания!

Чжао Цин-ши в шляпе с павлиньим пером — наградой богдыхана — отправился навестить местные власти. Тем временем я наблюдал людей, коротающих весь свой век на воде. Ведь здесь весьма многие рождаются, растут, женятся и умирают в лодках на реке.

Вот одна из таких лодок. Посредине ее шалаш из соломенной цыновки. В нем семья: муж и жена, их взрослый сын с женой и двумя малыми детьми. Они чудом умещаются в шалаше и еще ухитряются держать тут двух свиней.

Младший внук привязан за ногу веревкой, чтобы его удобнее было вытащить из воды, если он свалится за борт.

Малыш здесь родился. Никто в семье не знает иного дома. Хозяин его много лет назад привез молодую жену. Ни одна девушка с берега не пошла бы за него замуж, и потому пришлось взять ее с другой лодки.

Семья быстро росла. Дочери выходили замуж, но не переселялись на землю. Ныне с родителями остался лишь сын со своей семьей, судьба которой жить всегда на воде.

Теснота и скудость помещений невообразимы. Все же люди приветливы, общительны и веселы.

Однажды с противоположного берега послышался плач и рыдания, доносились неясные слова, в которых слышалось глубокое горе. «Хоронят кого-то», — объяснили мне.

Небо хмурилось, в воздухе по-осеннему стало свежо. Сутолока радостей и печалей подавляла; мне показалось вдруг, что я одинок на чужой стороне и никому нет до меня дела. А сие, наверное, оттого, что слишком долго находился я в покое, пребывая в Пекине...

Из письма, посланного через несколько дней.

...Земля побелела от «утренника», как у нас случается в октябре. Воздух звонкий, холодный. Трава покрыта обильной изморозью. Высоко в небе висят легкие облака. На склонах берегов холмы, равнины, поля, обработанные, как огороды. Вид этих полей достоин особливого внимания. Гряды разделаны земледельцами с отменной тщательностью, в их расположении и форме заметна забота о культуре растений. Некоторые из них обращены к северу, иные полно пользуются солнцем, другие прячутся в тень.

Сеть каналов пересекает равнину, вода растекается по всем направлениям, иногда даже не поймешь, откуда и куда она бежит, какая сила гонит ее. Благодаря искусному орошению только и возможно произрастание риса на подобных равнинах. Глядишь на поля и убеждаешься: местные земледельцы — кудесники.

Мы едем на лодках, влекомых бурлаками. Головы их непокрыты, ноги босы, и лишь у некоторых соломенные подошвы вместо обуви. Несмотря на холод и легкую одежду, бурлаки обливаются потом.

Река, еще не знающая льда, торопливо бежит к морю. На высоких ее берегах встречаются постройки из бамбука, гаоляна и тростника. Иногда мы останавливаемся вблизи селений, и тогда вокруг меня собираются люди.

Быстрота, с какой местные жители узнают о нашем прибытии, изумительна. Завидев еще издали лодку, они бросают свои мирные занятия и бегут со всех ног к берегу. Раньше всех прибегают мальчишки, за ними поспешают взрослые,

потом плетутся дряхлые старики и ковыляют на своих изуродованных ножках женщины. Слова «ян жень» — заморский человек — летят впереди меня.

Все стараются получше рассмотреть русского, как диковину, все подметить, ничего не пропустить. Втихомолку расспрашивают у лодочников: кто таков ян жень, куда и зачем направляется?

На одной из стоянок я купил у разносчика земляные орехи. Они были очень крупны, и я стал их рассматривать. В толпе сразу закричали:

— Он не знает, что это!.. Это едят!.. Можно есть! — кричали мне веселые голоса.

А когда я попробовал и похвалил орехи, как все были довольны!

Один старик решился вступить со мной в разговор.

— Все люди одинаковы, — сказал он, — только язык различный.

— Да, всем людям светит одно солнце, — ответил я известным китайским изречением.

Мой ответ вызвал одобрительный гул.

Добрый, живой нрав у китайских крестьян. А дети! Чтобы согреться, я затеял игру с ребятишками, стал бегать за ними, и вскоре увлек их в забаву. С хохотом они догоняли и ловили меня. Как радостно хлопали они в ладоши, любуясь начертанным мной на песке рисунком: драконом, преследующим тигра!

Тогда один из мальчуганов написал на песке иероглиф и спросил, знаю ли я его значение.

— Нет, — ответил я с самым серьезным лицом.

— Жень — человек, — объяснил мальчуган и указал на меня пальцем.

— Я не человек, — сказал я, — а заморский чорт!

Не только ребятишки, но и все взрослые, стоявшие на берегу, замахали руками и закричали в один голос:

— Нет, нет! Человек, хороший человек!..

Наши игры и шутки продолжались, если бы из лодки не появился почтенный Чжао Цин-ши. Его шляпа с павлиньим пером привела в трепет простых, добрых людей. Чиновник... Особа важная и более страшная, чем даже доселе невиданный заморский чорт.

Почтенный Чжао Цин-ши приятно осклабился в мою сторону и строго глянул на толпу крестьян. Все смолкли. Старик, который только что говорил мне, что «все люди одинаковы», стал бледен и, трясущимися руками опершись на бамбуковый посох, в страхе глядел на чиновника. Однако никто в толпе не пал на колени, не склонился в угодливой

позе. Все стояли, ожидая, что промолвит столичный чиновник, награжденный богдыханом павлиньим пером.

А тот продолжал оглядывать толпу, грозно поблескивая стеклами круглых очков.

Я первый нарушил молчание и сказал в шутку:

— Почтенный Чжао Цин-ши волнует людей своим блистательным видом.

— Слова Си-лаое — плод лестного воображения, — ответствовал чиновник и просиял от удовольствия.

Засим он удалился под навес лодки, но оживление и веселье не вернулись, и я покинул берег.

Из письма Ивана Сипакова, отправленного из Тяньцзиня.

...Тяжелые серые тучи плывут так низко, что кажется, вот-вот лягут на землю. Резкие порывы ветра налетают на водную ширь, подымают фонтаны брызг. Дождь по-осеннему настойчиво стучит по навесу лодки.

Берега Байхэ стали оживленнее перед городом Тяньцзинем. Справа и слева потянулись густонаселенные деревни, за ними поселок предместья, затем сплошные ряды домов.

А на реке стало так тесно от бесчисленных лодок, барж, плотов, что можно, перескакивая с борта на борт, добраться до берега. Среди речных судов уже встречаются морские, с пестро намалеванными на высокой корме извивающимися драконами. Со многих мачт пялятся страшными рыбьими глазами заклинательные бумажки. Паруса морских судов походят на распущенные крылья фантастических бабочек.

Перед нами возник многолюдный, богатый город. Все здесь в деятельном движении: кто тащит тюк на плечах, кто везет тачку, кто сам в ней едет, кто верхом на муле, кто в паланкине. По узким улицам, как и в Пекине, катятся волны людские, торопливые, шумные.

Путь нашим лодкам преградил мост меж берегов. Развести его — значило прервать и остановить нескончаемый живой поток. Следовало обождать предвечернего часа, когда мост разводят для всех проходящих судов.

Но разве почтенный Чжао Цин-ши, награжденный павлиньим пером, может ждать, как прочие люди! Так он «потеряет лицо». По его велению раздался удар в гонг: сигнал, что мост будет разведен.

И началась суматоха!.. Тотчас во всю прыть с обоих концов побежали все спешившие перебраться на другой берег. Помчались носильщики паланкинов, кули с тачками или поклажей в руках, всадники нахлестывали лошадей и мулов.

А когда половинки моста разошлись, нашлись смельчаки, которые перепрыгивали через широкую щель.

Однако впереди нас ждало новое препятствие: на узкой водной дороге скопилось столько судов, что пробраться между ними не представлялось возможным. Тогда почтенный Чжао Цин-ши снова доказал значение павлиньего пера и хрустального шарика на шляпе чиновника.

С берега явился страж, вооруженный длинной плетью на бамбуковой трости. Он уместился на носу лодки и принялся освобождать путь. Как? Нет, он не кричал, не делал предупреждений, а быстро намечал взглядом цель, замахивался и с невероятной меткостью опускал плеть на спину зазевавшегося лодочника. Тот немедленно сворачивал в сторону. Затем плеть опускалась еще и еще... Так был очищен путь для ладьи почтенного Чжао Цин-ши.

«В чужой монастырь со своим уставом не лезь!» — твердил я себе, еле сдерживаясь от вмешательства в сию сцену.

Из следующего письма.

...Доселе не ведал, какие молодцы китайские мореходы. Жестокий тайфун настиг наш утлый корабль в Бохай — Желтом море. В бешеном исступлении он гнул мачты, рвал паруса, заставлял натужно содрогаться корпус судна. Водяные горы обрушивались на палубу, грозили опрокинуть и сбросить корабль в бездну.

Тайфун... Два иероглифа обозначают сие слово: первый — «большой», другой — «ветер». Весьма сдержанное определение урагана! Только сильные, мужественные люди могли удержаться от слов «смертельный» или «ужасный».

Экипаж спас корабль от гибели. Матросы рисковали жизнью, дабы убрать паруса. Капитан не покидал мостика, пока природа, как добрая мать, не убаюкала своего капризного дитяти Бохай.

Сейчас корабль «Белый тигр» опять окрылен всеми парусами. На корме его вновь красуется заклинательная бумага с глазом страшной рыбы.

Море спокойно. Потому почтенный Чжао Цин-ши, как обычно, возлежит на палубе на мягких подушках. Рядом на низком столике горка классических книг. Очки с простыми стеклами утомляют глаза, но помогают скрыть, что он дремлет.

Корабль приближается к порту Амой. Оттуда, как говорится, рукой подать до острова Тайвань, куда «Белый тигр» тоже зайдет.

Почтенный Чжао Цин-ши скрывает от меня истинную цель путешествия.

Полагаю, что дело не ограничится обычным торгом с чужеземными купцами. Чиновник Цзунли ямыня чего-то не договаривает, хотя каждодневно подолгу «заимствует разум». А когда я спросил прямо, какова цель нашего путешествия, то в ответ услышал изречение классической мудрости: «Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что следует знать и чего не должно знать». Отвечая так, он сощурил свои и без того узкие щелки глаз и важно напялил очки на широкий нос.

Сегодня я подошел к мнимому любителю учености, когда он очнулся от послеобеденной дремы. Заметив меня, он потянулся за книгой. Губы громко зашептали, читая из классического Лун-юй: «Не печалься о том, что ты не известен людям, но скорби о том, что сам не знаешь людей...»

Но чтение быстро утомило почтенного Чжао Цин-ши, и он предпочел беседу.

— Сын Неба — самый могучий властелин на земле. А белый царь, наверно, самый могучий в Европе, коли одолел Бонапарта? А каковы мысли Си-лаое?..

Вопрос был не так пустопорожен, как может показаться. Дипломат из Цзунли ямыня не тратит слов попусту. Пока он лишь нащупывает почву.

— Да, русский народ первый одолел узурпатора, — ответил я.

— Разве у других заморских государств меньше солдат и пушек?

— Возможно, даже больше. Но ведь не только сила оружия определяет могущество. Впрочем, какие государства имеет в виду почтенный Чжао Цин-ши?

Дипломат снял с носа мешающие видеть очки. Решил, видно, поговорить со мной без околичностей: дальнейшая скрытность уже бесполезна — берег порта Амой на виду.

Наконец я узнал истинную цель путешествия. Оказывается, некий европейский купец предложил продать китайским властям оружие, оставшееся после войны с Бонапартом. В Цзунли ямыне долго обсуждали условия сделки и решили послать чиновника для переговоров.

— Однако я тут при чем? Сабли от шашки не могу отличить. Для такого дела нет лучше отцов иезуитов! — возразил я.

— Си-лаое радует истиной: святые отцы ордена Я-су отлично разбираются в оружии, но склонны к... — взгляд дипломата совсем спрятался в узкие щелки, и он сделал пальцами жест, на всем земном шаре одинаково означающий мздоимство.

Признаюсь, я с трудом скрыл улыбку. Наивна уловка чиновников Цзунли ямыня! Опасаясь, что русский откажется от предложения, узнав цель путешествия, они пустились на хитрость: решили рассказать обо всем только в море.

— Для меня сие — пожар на чужом берегу, — ответил я. — К военным делам не питал склонности никогда и ныне чужд вовсе!

Но почтенный Чжао Цин-ши недаром слывет обещающим дипломатом: он решил сыграть на моей любознательности.

— Си-лаое, конечно, может лишить меня возможности заимствовать его разум. Горе мое будет велико! Но придется сожалеть не только о себе. Ни один человек из страны белого царя не бывал на Тайване. Если Си-лаое вернется, невознаградима будет утрата для науки его страны... — Дипломат изобразил на лице такую неутешную скорбь, словно терял ближайшего друга.

Как поступить? Какой-то внутренний голос шептал: «Вернись!», а другой, рожденный страстью путешественника, твердил: «Поезжай! Такой случай не повторится». Покурив, подумав, я ответил так:

— Поеду!

Из письма Ивана Сипакова с острова Тайвань от 2 января 1819 года.

...Попутный теплый муссон наполнял паруса, и «Белый тигр» приблизился к зеленому берегу. Мы плыли вдоль скалистых лагун, любуясь пальмовыми рощами, зарослями бамбука и фикусов, увитых густыми лианами. Тропический лес... Говорят, в нем водятся черные медведи, летучие собаки, обезьяны, ядовитые змеи. Непроходимые джунгли тянутся на всем четырехсотверстном протяжении острова.

Рассказывают о богатствах, скрытых в недрах острова, — золоте, каменном угле, нефти, кои разрабатываются весьма скудно. Жители трудятся на рисовых полях, чайных плантациях, заготовляют камфарное дерево; из него добывается ценное лечебное снадобье.

Сей остров еще за два века до нашей эры упоминался в китайских анналах. А много ранее с материка прибыли переселенцы, занявшиеся земледелием. Недаром уже на карте четырнадцатого века Тайвань очертили как искони принадлежащий Срединному государству.

Богатый остров издавна привлекал чужеземцев. На кораблях, вооруженных пушками, появились португальские купцы. «Формоза! Цветущий остров!» — восклицали они, ступив на местный берег.

За португальцами последовали голландцы, за ними испанцы. Ныне появились представители иных народов. Впрочем, сего предмета коснусь ниже.

Главный город Тайваня Тайбэй обнесен высоким тыном с семью крепкими воротами, его торговая улица большую часть года накрыта крышей для защиты от солнечного зноя. Товары в лавках расположены привлекательно. Душистые ананасы, сочные бананы и плоды манго в изобилии лежат на лотках и в корзинах. Гуси, утки и собаки, назначенные в пищу, продаются живьем, рыбы — в сосудах с водой, угри — в сыром песке. Покупателям предлагают все что угодно, даже гробы, выкрашенные превосходными яркими красками.

Из следующего письма Ивана Сипакова.

...Мистер Смит показал почтенному Чжао Цин-ши свой товар — старые кремневые ружья, давным-давно выброшенные из какого-то арсенала. Предприимчивый делец втридорога всучивает ржавую рухлядь представителю Цзунли ямыня.

Вы, конечно, помните на площадях Пекина артикулы воинов богдыхана. Громоздкие щиты, тяжелые трезубцы и бердыши с причудливыми лезвиями, тугие луки со стрелами — все их вооружение, должное противостоять медным пушкам и ружьям. А ведь в войне с Бонапартом европейцы уже применили и грозную новинку: в небо вылетали воздушные шары...

Чжао Цин-ши и мистер Сэмуэль Смит нашли общий язык. Торговец оружием наметанным глазом сразу определил натуру клиента. В ответ на угодливую улыбку он поощрительно похлопал его по плечу и, коверкая китайские слова, объяснил свое предложение: если почтенный Чжао Цин-ши заключит сделку, то получит солидную мзду.

Следует ли удивляться, что я отказался пособлять нечистой сделке и покинул тайваньский ямынь, где происходил торг. Ненасытно алчен сладкоречивый чиновник. Недаром о таких людях говорят: «Бойся тигра, нюхающего хризантему»...

Мне было душно от солнца, гревшего не по-зимнему жарко, а еще более от волнения и досады. Неприметно я очутился в тесной толпе.

Неожиданно, как будто в самой гуще толпы, послышался поющий голос:

О деревья отчизны!
Долгим вздохом прощаюсь.
Льются, падают слезы
Частым градом осенним.

Замедлил шаг я, прислушался. Остановились и другие прохожие.

Певец продолжал:

Где ворота Дракона?
Их уже я не вижу,
Только сердцем тянусь к ним,
Лишь душою тревожусь...

Улица замерла. И еще громче зазвучал высокий чистый голос:

Путь далек, и не знаю,
Где ступлю я на землю.
Гонит странника ветер
За бегущей волной.

Я протиснулся сквозь толпу, чтобы увидеть волшебника, сумевшего остановить жизнь деловой улицы. Он сидел на камне возле старого развесистого платана. На коленях его был хуцинь — инструмент с двумя шелковыми струнами на длинном грифе, по коим он медленно водил смычком.

Странное лицо было у певца: живое и в то же время неподвижное. Он глядел не щурясь и не моргая. «Слепой!.. — догадался я. — Слепой шошуди...»

Да, то был человек, поющий и рассказывающий классические произведения. Я вспомнил, как вы любите слушать шошуди, который иногда забредает в наше пекинское подворье.

Люди на улице внимали каждому слову. А певец, будто угадывая их мысли и чувства, пел о страннике, тщетно ищущем счастья и справедливости:

Нет веселья на сердце
Так давно и так долго,
И печаль за печалью
Вереницей проходят...

Струны издали долгий незамирающий звук, шошуди опустил смычок и обернул свое лицо к солнцу. Наверно, его невидящие глаза ловили ласку солнечного тепла или его тонкий слух так лучше улавливал биение сердец молчавших людей.

Тишина длилась недолго. Вдруг знакомые и незнакомые заговорили друг с другом, закричали, засмеялись.

— Чужеземец понимает речь великого Цюй Юаня? — обратился ко мне человек в лохмотьях, висевших на его худом теле с живописной небрежностью.

— «Поднимаюсь на остров и взглядом дали пронзаю: хочу успокоить неутешное сердце...» — вместо ответа прочел я строчку стихов Цюй Юаня, почему-то пропущенную шошуди.

Он сидел на камне, молча касаясь струн хуциня. Толпа вокруг него росла с каждой минутой. Желающие послушать бродячего сказителя-певца запрудили узкую улицу, и я еле выбрался, чтобы еще побродить по городу.

В конце улицы высились ветхие триумфальные ворота. В честь какого события или человека они были сооружены? Я подошел к воротам, пытаясь прочесть надпись на разбитой арке. Увы, иероглифы, высеченные на мраморной доске, от времени стали неразборчивыми.

— Кто удостоился чести быть здесь увековеченным? — обратился я к торговцу бананами, стоявшему под аркой триумфальных ворот.

— Печалюсь, что не могу ответить на вопрос чужеземца, — торговец вежливо поклонился и в знак глубокого сожаления широко развел руками. — И никто уже не знает в этом краю, — добавил он со вздохом. — Забытая, старая слава...

«А вот стихи Цюй Юаня не меркнут тысячелетия, — подумал я. — Поныне народ внимает мудрой красоте слов».

Глава тринадцатая

В саду русского подворья яблони уже сбросили белый весенний наряд. Нежная, почти прозрачная зелень покрыла деревья. Теплый ветер множеством своих невидимых рук шевелил листы, шумел, а когда появлялась тучка, разрывал ее в клочья и, угнав в безвестные дали, снова весело гулял по саду и крышам домов.

Глава духовной миссии из окна кельи глядел в сад. Деревья, посаженные и выращенные им, разрослись, покрылись морщинистой, толстой корой. Немудрено! Прошло четырнадцать долгих лет с тех пор, как отец Иакинф поселился в столице Срединного государства.

Мысли теснились в усталой голове. Хотелось оставить все заботы и, как бывало в детстве, без шапки выбежать в сад навстречу ласковому весеннему ветру.

Весна всегда напоминала отцу Иакинфу зеленеющие просторы родных полей и лесов. Скоро ли он будет бродить там наяву? Да, ждать осталось недолго. Наконец, после длительной переписки, отчетов и напоминаний, ответных обещаний, запросов, указаний и циркуляров Министерство иностранных дел и Святейший синод сообщили, что из Санкт-Петербурга в Пекин отправляется новая миссия. Во главе ее поставлен архимандрит Петр Каменский — чиновник азиатского департамента, принявший монашеский постриг и духовный сан.

Что ждет на родине, как встретит она своих сынов, коих посылала в места отдаленные обращать на путь истины людей, блуждающих во мраке невежества? Святейший синод так наставлял миссионеров в своем напутствии: «Сугубо блажен тот, кто со всей ревностью обращает не ведающих

спасительного света евангелия, перенося труды и скорби на поприще своего служения. Мзда его многа на небеси! Но горе тому, кто призван и поставлен благовестить и не благовествует. И еще горше тому, кто перешел сушу и море, дабы обращать других, а делает обращенных сынами геенны».

Строгие кары грозят нерадивым пастырям. А ведь плохо, из рук вон плохо выполнял он, начальник духовной миссии, заветы пославших его. За минувшие годы никого не обратил в лоно православной церкви и вовсе растерял свою паству.

Но немало сделал он, потрудился для отечественной науки: обогатил ее ценнейшими наблюдениями, собрал редчайшие рукописи и книги. Не полагаясь на память, многое кропотливо записывал.

Тетради с повседневными записями начальник миссии хранит в шкафу, вделанном в стену кельи. Ключ от шкафа носит с собой.

Рука привычно отдернула темную шелковую шторку. Два поворота ключом. С легким скрипом распахнулась дверца. На полках книги, рукописи, тетради... Тесно в шкафу. А в нем лишь самая драгоценная часть накопленных богатств.

Вот рукопись словаря — труд, начатый еще на пути в Чжунго. На листках толстой тетради выписаны русские слова, а рядом их иероглифические обозначения и звучание по-китайски. По столбикам слов можно вспомнить, как росли и ширились знания, накапливался запас понятий на чужом языке.

В келье холодно, хотя по деревянным ходам под полом шел воздух, нагретый в жаровнях с углем. Но вместе с теплом через щель в полу просачивался сизый угарный дымок. Для осаждения его в келье стояли мраморные чаны с водой, в которых плавали золотые рыбки.

Отец Иакинф прошелся по келье, остановился у аквариума. На дне его темнели застывшие силуэты сонных рыбок. Упавшая сверху тень человека вспугнула одну из рыбок, она метнулась в сторону, встревожила остальных, и вдруг все силуэты ожили и беспорядочно заметались.

— Как они, глупые, не столкнутся в такой тесноте! — Он бросил в воду щепоть хлебных крошек и обернулся к полкам.

Вот ряды тетрадей с переводом Четырехкнижия, Сы-шу, и с пространными пояснениями классической премудрости. На седьмом году пребывания в Китае он приступил к этому труду: то был ключ, без коего невозможно проникнуть в глубины классической науки. Для перевода Четырехкни-

жия пришлось изучить древние и новейшие статистические и географические описания Срединного государства. Все же терминология и смысл текстов Сы-шу остались бы непонятными без предварительного изучения и хотя бы сокращенного перевода шестнадцати томов истории народов Чжунго.

Да, каждая страница текста, а иногда строка, случалось даже только иероглифический знак, требовали для своей расшифровки тщательной подготовки. Отец Иакинф убедился, что китайские философы, историки, писатели обычно называют народы, страны и города так, как они именовались во время описываемых событий. А эти названия при каждой новой императорской династии менялись. Посему ради научной точности в переводах потребовалась немалая дополнительная работа.

На почетном месте, так называет отец Иакинф среднюю полку в шкафу, находятся рукописи его перевода книги «Описание Чжунгарии и Восточного Тюркистана». Первая часть рукописи — извлечение из истории династии Хань, писанной в первом веке после рождества Христова. Эту часть по праву может он назвать неоценимым подарком исторической науке. В ней документальные сведения о народах, обитавших на огромном пространстве от китайской границы до Каспийского моря и от Кашгара до Индустана и Персии.

Не только далекое прошлое нашло отражение в трудах русского синолога. Полки шкафа занимают труды о современных азиатских народах, о которых европейская наука также имеет самые скудные сведения.

Тибет!.. Страна недосягаемых гор с вершинами, уходящими в поднебесье. Царство вечного, неумирающего Будды и его наместника на земле, далай-ламы, и сонмища его ревностных жрецов и монахов. Когда-то под страхом смерти ни один иностранец не преступал рубежей этого таинственного закрытого мира. Тоббэт... Тюббет... Тиббэт... Тибет... Даже название неведомой страны европейские ученые установили не так давно.

Чиновник правительства Срединного государства недавно побывал в священной обители великого Будды. Его примечательные записки драгоценны для востоковедческой науки.

Начальник миссии не пожалел сил и времени на перевод этой книги. Несколько еще не переплетенных тетрадей испещрены его ровным почерком. На первой тетради заголовок: «Описание Тибета в нынешнем его состоянии».

Никак нельзя упрекнуть русского востоковеда, что круг его изысканий узок. Нет, он посильно стремился в своих трудах отразить многообразие китайской учености. Поэтому

он перевел на русский язык полезнейший для медицинской науки трактат о прививании оспы. Наверное, ученых заинтересует и перевод книги об опыте судебной медицины в Срединном государстве.

Отец Иакинф отошел от заветного шкафа, устало сел в кресло-качалку в углу тесной кельи. В редкие минуты отдыха он любил откинуться на плетеную спинку кресла, закурить папиросу и предаться спокойному течению мыслей. Впрочем, он больше мечтал о покое, чем им пользовался. Его ненасытный, вечно ищущий ум не мог пребывать в бездейственном состоянии. И кресло лишь помогало лучше сосредоточиться в размышлениях.

Стемнело. Отец Иакинф зажег свечу в тяжелом бронзовом подсвечнике на письменном столе. Запаха сальных свечей он не выносил и позволял себе роскошь пользоваться недавним, еще дорогим изобретением — стеариновым освещением.

Наконец-то из Петербурга стали присылать средства на содержание миссии!

Ровное мерцание свечи располагало к сосредоточенности. А зачищенное гусиное перо и заранее нарезанные листы бумаги на столе будто звали к себе ученого. Он положил в пепельницу мундштук с недокуренной папиросой и занял привычное место за письменным столом.

Проходили дни в ожидании новых русских посланцев в Срединное государство. Время тянулось томительно медленно. Казалось, что десятая духовная миссия никогда не закончит своего путешествия. Правда, через купцов, торговавших с Монголией, — лучших вестников того, что происходит на всем пути от Пекина до Кяхты, — доходили слухи о скором прибытии миссии. Купцы, ручаясь за достоверность своих сообщений, утверждали, что новый русский далама совсем не похож на прежнего: он нелюдим, надменен и не проявляет учтивости в обращении с чужестранцами.

Говорили также, что среди русских, едущих в Пекин, один общителен, приветлив со встречными людьми. Добрая слава бежала впереди Тимковского — пристава каравана новой миссии.

Прошло еще немало времени, прежде чем в русское подворье пришли долгожданные вести. Их привез бородатый сибирский казак, посланный вперед с переводчиком-китайцем. В письме, привезенном казаком, архимандрит Петр Каменский настоятельно предлагал своему предшественнику встретить его в столице Срединного государства с торже-

ственностью и почетом. Архимандрит не пояснял, что разумел он под этими словами, но, читая их, Иакинф сурово нахмурился и произнес досадливо:

— Экой гусь!..

А казаку, привезшему письмо, сказал:

— Идем ко мне, братец...

И увел в свои покои, где трапезовал и долго беседовал с сибиряком.

Наконец у ворот русского подворья показался передовой отряд стражи, за ним растянувшиеся на несколько улиц экипажи и подводы новой духовной миссии. Сзади двигался обоз, и снова казаки с пиками, по-праздничному увенчанными желтыми вымпелами.

Отец Иакинф вышел из ворот подворья, чтобы встретить прибывших россиян. А навстречу уже бежал какой-то человек. Они обнялись, троекратно расцеловались и только тогда внимательно глянули друг на друга.

— Егор Федорович Тимковский, — представился приехавший. На вид ему было около тридцати лет, роста большого, несколько тучный, но быстрый и легкий в движениях. Его умные глаза глядели пытливо и доброжелательно.

— Ну вот, сбылось! Наконец исчезло необъятное пространство. Судьба перенесла нас в страну, бывшую предметом давнишнего любопытства и неясных предположений. Признаюсь, отец Иакинф, с чувством радости и с недоумением взираю на окружающее.

— Недоумения рассеятся скоро, и, ручаюсь, вы, как и я, полюбите эту страну и ее людей, — ответил отец Иакинф.

Они подошли к экипажу, из которого уже выходил архимандрит Петр Каменский.

Не к такой встрече с новым начальником миссии готовился отец Иакинф, хотя недавнее письмо заставляло насторожиться.

Все в облике отца Петра Каменского выражало гнев и раздражение. Рыжая холеная бородка тряслась и голос дрожал, когда он, пристукнув посохом с золотым набалдашником, произнес:

— Наслышан был о дерзости вашей натуры, отец Иакинф, однакож зримое ныне превосходит ожидавшееся! Просил вас о приуготовлении достойной встречи. И что же?.. Причт в затрапезных одеяниях и колокола храма пребывают в молчании. Прилипает язык к гортани от преизбытка огорчения, но не могу заградить уст и невольно позволяю излиться текущему опечаленному слову...

— Погодите, отец Петр!.. — прервал Бичурин велеречивого архимандрита.

— Поистине бысте мы, аки овцы без пастыря! — вдруг послышался рядом умильный голос отца Аркадия и затем другой, сиплый, отца Серафима:

— Благословите, отец Петр, и примите поздравление со столь счастливым для нас прибытием в сей вертоград!

Архимандрит Петр благословил припавших к его руке пастырей и, поддерживаемый ими, проследовал в Сретенскую церковь, чтобы вознести благодарственное моление о благополучном окончании путешествия и прибытии миссии к месту следования.

Отец Иакинф читал и перечитывал список книжных богатств, приобретенных для российских синологов. Лексиконы китайские и маньчжурские, грамматики, политические, экономические, географические, военные изыскания, атласы, карты, рисунки, изображающие людей, национальные типы, быт народа Срединного государства... Кажется, ничто не забыто...

Взгляд Тимковского не отрывался от человека, вызывавшего к себе противоречивые чувства. По натуре настоящий русский — он так глубоко воспринял все китайское; монах, но, как говорят, неверующий; характера замкнутого с людьми, чуждыми ему, с друзьями — открыт и прост. Это рисует отца Иакинфа, или, как почтительно зовут его китайские друзья, И-лаое, человеком необычным.

В келье начальника духовной миссии накурено. За последние годы отец Иакинф пристрастился к табаку, свертывал его в толстые папиросы, которые называл «пушками». Он совал их в почерневший камышовый мундштучок, предпочитая его другим, более дорогим, из светлого янтаря, из черепаховой или слоновой кости.

И появилась еще слабость — крепкий чай. Отец Иакинф любил особливый, превосходный сорт, произрастающий на горе Лушань в провинции Фуцзянь. В приготовлении его придерживался неукоснительных правил. Во-первых, предпочитал пользоваться водой горных ключей, а коли ее нет, то речной и лишь в крайнем случае колодезной, давая ей хорошо отстояться. Во-вторых, наливая воду в чайник, избегал близости мяса, рыбы, масла, чтобы посторонние запахи не исказили тонкого аромата. В-третьих, русский далама считал наиглавнейшим настаивать чай прокипевшей, но не кипучей водой, памятуя, что кипячение должно происходить постепенно. Сначала должны появиться подобные рыбьим глазам пузырьки, потом нечто похожее на бьющий

родник и, наконец, колебание, напоминающее о волнах морских. Разумеется, кипение без живого огня не годится, а живым огнем, как известно, можно считать лишь пыл горящих древесных углей.

Самовар наилучшим образом отвечает такой цели. В келье для него отведено почетное место на особом столике возле большого письменного стола. Медный, начищенный до сияющего блеска, он пыхтел, отдувался паром и пел какую-то уютную, свою, самоварную песнь, когда хозяин обратился к гостю:

— Не угодно ли еще чашку? Впрочем, здесь говорят: «Не спрашивай гостя, стоит ли для него зарезать курицу».

— Замечаю, чем-то омрачены вы, отец Иакинф... А ведь уже кончается ваше заточение на чужбине, — заметил Егор Федорович, беря протянутую ему чашку из тонкого до прозрачности фарфора.

— Да, думал постоянно об отечестве. А ныне радость возвращения омрачает мысль: доведется ли вновь свидеться?.. С кем, спросите?.. Привык здесь ко всему!

— Вторая родина?

— Не стыжусь признаться. Вчера отец Петр попрекнул — «защищаемый и любимый вами Китай». Давно слышу подобные слова из уст попугаев, католических миссионеров. И вот появился наш чиновный мотылек и смеет меня поучать, не смущаясь безмерности своего самомнения и невежества. Да, чиновный мотылек, принявший монашеский постриг! Э-ээ... прости, господи, крепкое слово!..

Унизительному, пристрастному допросу подверг его преемник, облеченный Святейшим синодом властью духовного следователя. Почему нет молящихся в храме? И почему храм так обветшал и золотые купола его потускнели и надтреснут большой, стопудовый колокол? На все следовало ответить пространно, в письменной форме. А чего стоили очные ставки с низкими фискалами, опустившимися священнослужителями Аркадием и Серафимом! Их доносы Петр Каменский, конечно, присовокупит к своему сообщению в Петербург о деятельности начальника девятой миссии.

«Забыв страх божий, аки ненасытный волк в овечьей коже, овцам пагубу содеял, безвременно в гульбе обращаясь», — жаловался отец Аркадий.

«А священнослужение отправлял нерадиво, затем не отправлял вовсе, оставил язычников слепствовать во тьме неведения истины христианской», — вторил отец Серафим.

— Тьфу!.. — с досады сказал отец Иакинф, вспомнив эту галиматью. — Что ведомо доносителям о занятиях моих? Делу отдавал я время, делу! И верю, что пользу оно принесет отечеству не меньшую, чем ежели бы умножил души православных в Китае.

— Не тревожьтесь! — попытался успокоить Тимковский. — Не один лишь архимандрит Каменский будет судьей ваших заслуг...

Колокола заглушили его голос. С приездом начальника новой миссии они неустанно звучали басами и дискантами, словно восполняя длительное безмолвие своих языков. Сейчас они созывали причт к вечерней службе в храме.

Беседа оборвалась.

— Батюшки! Заболтался, а еще столько хлопот. А ну-ка, господин пристав караванов пекинских миссий, принимайся за дела... — Тимковский неохотно приподнялся с кана и пошел к двери.

На пороге кельи он остановился и, стараясь одолеть шум колокольного перезвона, сказал:

— Обещаю всегда быть верным другом, во всем содействовать исполнению вашего научного и гражданского долга.

Егор Федорович вышел за порог.

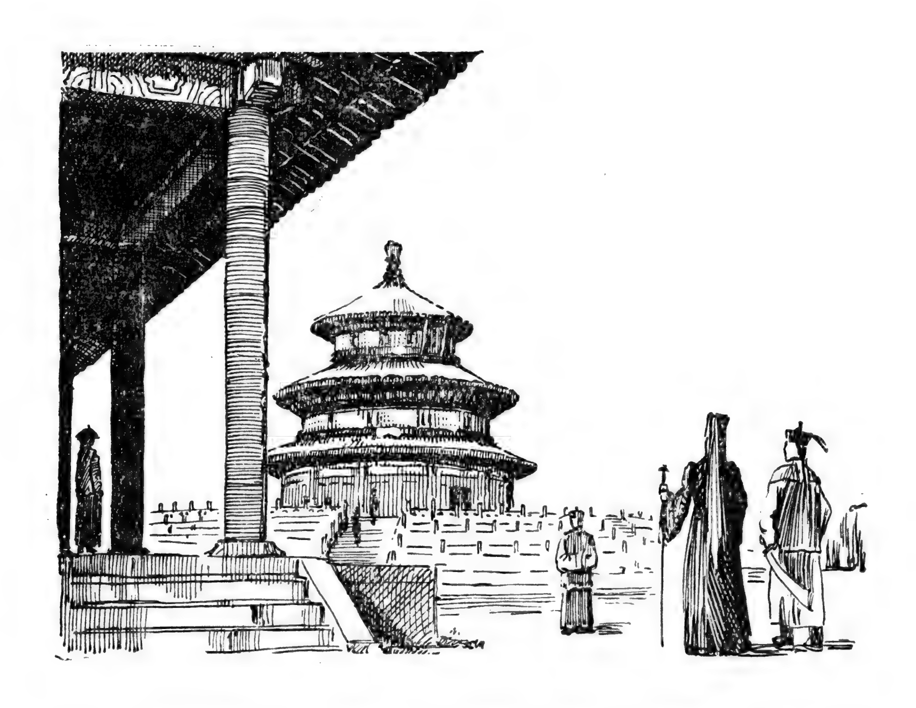
— Четырнадцать лет!.. — прошептал отец Иакинф, и звук собственного голоса показался ему странно чужим в пустой келье. Да, четырнадцать лет назад он приехал в столицу Чжунго. И теперь, накануне отъезда отсюда, хотелось подумать о том, что стало бесконечно дорогим.

Признаться, утомили заботы и суматоха, обычные при сборах в дальний путь, а, пожалуй, еще больше отняло силы прощание с полюбившимися местами и людьми. Поутру он обошел город, вспоминая, как составлял план и описание Пекина, бросил последний взгляд на все, что хотелось унести с собой в памяти, хранить до конца жизни.

Юйхэцяо — огромный мраморный мост с триумфальными арками на концах, перекинутый через пруд, густо заросший лотосами. Сколько раз, проходя здесь, он невольно останавливался, восхищаясь высоким искусством людей, пришедших на помощь природе! А разве можно забыть храмы Пекина!..

Навсегда запомнит и ничем неприметные улички, кривые проулки города.

Труднее всего расстаться с людьми. Всех не перечислишь — друзей и знакомых, простолюдинов, чиновни-



ков и торговцев, с коими приходилось встречаться и общаться.

Не легка разлука с албазинцем Алексеем — первым учителем и толмачом в чужой стране. Старый, верный друг! Он поднес в путь-дорогу серебряный складень — образ Спасителя в терновом венце. Прадед Алексея привез с Дона в Албазин этот потускневший от времени складень, а ныне судьбе угодно отправить его на берега Невы.

Долго длилась последняя беседа русского даламы с почтенным Ма Цзы-гуаном. Старый книголюб, прощаясь, склонил голову и как напутствие произнес заповедные слова Первоучителя: «Не бояться тигра — доблесть охотника; смотреть на смерть, как на жизнь, — доблесть солдата; не страшиться трудностей жизни — доблесть мудреца». Да, отец Иакинф готов на любые тяготы во имя высшей цели — науки. И он ответил словами Кун-цзы: «На богатство и почет смотрю как на блуждающие облака».

Оглушительный колокольный звон заполнял келью, мешал думам. Отец Иакинф резко захлопнул окно. Стало тише.

А потом как-то сразу и вместе наступили вечерняя темнота и покой.

Из дневника коллежского асессора и орденов св. Анны второй и св. Владимира четвертой степени кавалера Егора Федоровича Тимковского.

Мая 5-го 1821 года. Пекин.

Выгоды, кои от торга с Китаем произойти могут, неисчислимы. Однако ныне он еще недостаточен. Если мы сопоставим его со всем внутренним и внешним обращением ежегодно производимыми в России богатствами, то оный торг столь мал в сем сравнении, что кажется малым ручьем, который теряется в море, не производя в нем никакого движения.

Прозорливый Александр Радищев писал, что торг с Китаем возвысит цены в Сибири на мягкую рухлядь, распространит обилие между питающимися звериным промыслом, размножит плавание по Байкалу и сибирским рекам, даст пропитание питающимся извозом, гостеприимством, удесятерит обращение денег в городах сибирских, доставит казне знатный доход, доставит купечеству надежное пропитание, даст дешевую и прочную одежду не токмо Сибири, но и России, и удешевит вожделенное всеми питие — чай. Но что важно, если можно пронизать слабым взором в будущее, торг сей будет распространяться паче и паче...

Без даты.

Цены жизненным припасам и разным товарам в Пекине в 1821 году, полагая один фунт серебра в 92 рубля ассигнациями, а китайский лан в 8 рублей на русские или 1 100 чохов на китайские медные деньги.

Чай чжулань зеленый за фунт 2 лана.

Мука пшеничная за фунт 40 чохов.

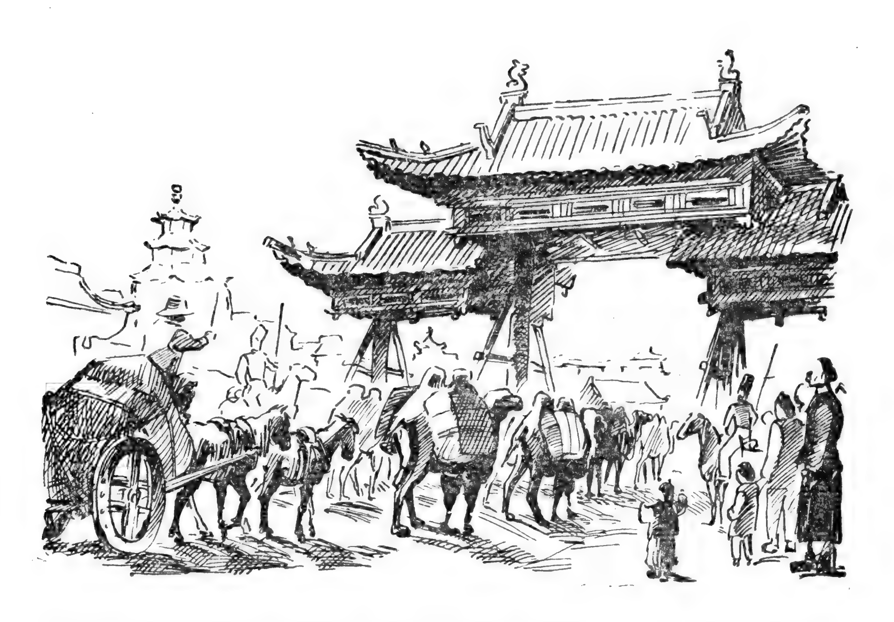
Крупа из сарацинского пшена (именуемого иначе рис) за фунт 20 чохов.

(Примечание: важно узнать точные цены на железо, медь, каменный уголь.)

Без даты.

Приобретены отцом Иакинфом для Санкт-Петербургской публичной библиотеки и для библиотеки Азиатского департамента, а также для предполагаемого в Иркутске заведения азиатских языков пятьдесят девять названий трудов на китайском и маньчжурском языках — всего 185 томов.

Имеются также для этой цели исполненные и подаренные монахом Иакинфом рисунки: китайский чиновник в придворном церемониальном одеянии; нищий на улице столицы; пекинская дама в колясочке, мулом запряженной; крестьянка, моющая белье; столичный барич с часами и ве-



ером; корейский мужик, копающий землю; простой тибетец; девица туркестанская — всего пятьдесят раскрашенных рисунков.

Общий вес увозимого груза превышает четыреста пудов. Большую часть составляют книги. Десятки верблюдов будут навьючены произведениями китайской учености. Смело можно сказать, что все восемь российских миссий, бывших в Китае в течение ста лет, не приобрели столь великого числа полезных сочинений, как одна девятая миссия.

Мая 15-го 1821 года.

Поутру архимандрит Петр с двумя иеромонахами совершил литургию и, по окончании оной, молебствие о даровании успеха в пути возвращающимся в отечество.

Во втором часу, после обеденного стола, начали отправляться в дорогу. Сперва выступил обоз на тридцати верблюдах и пяти телегах в сопровождении нескольких казаков. Затем отправилась миссия в следующем порядке: впереди ехал казачий старшина с девятью казаками, потом в носилках следовали духовные особы, за ними находились: казачий сотник, церковник Яфитский и я. Шествие заключали два урядника. Исключая особ духовных, все прочие ехали верхом, в парадной одежде.

Столичные власти явили при сем случае большую деятельность. Улицы были политы водой. От одного квартала до другого провожали нас китайские чиновники, дабы не

случилось нам какого-либо беспокойства от множества народа, собравшегося проводить россиян...

1 августа 1821 года.

В первом часу пополудни прибыли в Троицко-Савскую крепость. Таким образом, закончилось возвращение в отечество. На всем пути властители Китая оказывали русским путешественникам знаки дружества и особую попечительность. Но палящий зной и бедность природы в каменистых степях монгольских не раз угрожали расстройством здоровья. Не в чувствах малодушного сетования, а с должною откровенностью скажу, что сей путь есть странствие беспокойное, трудное, опасное.

Все же с радостью утверждаю: судьба украсила мою жизнь событием редким, незабвенным — я видел Китай...

Глава четырнадцатая

В тринадцати храмах Александро-Невской лавры только что заблаговестили, сзывая к заутрене, когда трое ветхих розвальней ткнулись в запорошенную снегом узорчатую решетку главного входа.

— Куда леший несет? — выругался и тут же перекрестился выскочивший из сторожки привратник, запахиваясь в грязный заячий тулуп.

Ямщик придержал лошадь у передних саней и помог седоку ступить на землю. Тот отвесил поклон и с удивительным спокойствием проговорил:

— К покоям отца настоятеля не укажешь ли, брат, в какую сторону проехать?

— Ишь ты, к отцу настоятелю! Захотел чего!.. Да ты кто же такой будешь? — насмешливо разглядывая из-за решетки приезжего, спросил привратник.

— Прибыл на жительство в обитель вашу. Соблаговоли, брат, открой ворота...

В спокойной речи этого немолодого человека, одетого почти бедно, было нечто внушительное, согнавшее насмешливую улыбку с лица сторожа. Не решаясь все же распахнуть решетчатые ворота перед жалкими дровнями, он ласковей отозвался:

— За углом, в другие ворота к настоятелю. Только, слышь, подождать придется, покуда служба отойдет. В храме отец настоятель, и келарь и казначей там.

— За углом, говоришь? — Приезжий сделал движение, пытаясь снова усесться в розвальни.

— Погоди, ежели впрямь к отцу настоятелю... Не достучаться сейчас в те ворота. Бог с тобой, въезжай здесь. На-

прямки держи к собору... Наискось от притвора они и есть, покои настоятеля.

Узорчатая решетка медленно подалась, и розвальни, виляя, заскользили по накатанной снежной дороге, огибавшей колонны Троицкого собора, возвышавшегося над храмами Александро-Невской лавры.

— Ишь ты, сам-один, а клади на всех дровнях навалено!.. — провожая глазами поезд, бормотал привратник. — Да кто же он есть? — вслух удивлялся, прикрывая ворота.

— Да кто же он есть? — спрашивали служки, помогая прибывшему разгружать кладь.

Сгибаясь от тяжести, послушники вносили тюки, ящики, сундуки, шкатулки в келью, которую сам отец келарь распорядился открыть приезжему. Это была двойная, просторная камора, которую берегли для почтенных и уважаемых монахов братии.

— Что здесь у него? — любопытствовали служки, устанавливая в келье кладь приезжего.

— Чисто камнями набито, — втаскивая расписанный цветами рундук, пожаловался рыженький монашек.

— А вон, глянь-ка на самого, и увидишь, — прошептал другой. — Чернокнижник он, вот кто!.. Видел, книги вытаскивал из мешка да из сундука? Я как посмотрел, так перекрестился украдкой. Книги ведь не христианские, с дьявольскими знаками...

— Неужто? — Рыженький любопытно оглянулся.

Приезжий бережно доставал из сундука и неторопливо раскладывал на столе длинные узкие фолианты в пестрых переплетах с густо наведенными черными знаками.

Послушники ломали головы. Кто же он, этот новый обитатель лавры? По виду как будто в самом деле монах. Когда приезжий снял залатанный тулуп, он оказался в старенькой ряске, мешковато сидевшей на высокой прямой фигуре.

Служка уже внес последний тюк, как кто-то осторожно постучал в дверь.

— Прошу, — отозвался приезжий.

В келью не вошел, а скорее вкатился кругленький небольшой человек в подбитой мехом бекеше. Еще не сбросив ее, он схватил руку приезжего и долго тряс, радостно повторяя:

— Ну, наконец-то, наконец! С третьего дня поджидаем вас, отец Иакинф!.. В добром ли здравии доехали? Путь от Белого моря нелегок... Но вы уже с нами. Убийственно было думать, что томитесь взаперти от цивилизованного мира!.. И это с вашими познаниями, с драгоценными записками! — восклицал он, подбегая к сундукам, разглядывая книги, ле-

жащие на столе. — Знали бы вы, какие надежды на вас в департаменте возлагают!.. — лукаво улыбнулся он, опять пожимая руку монаху. — Не зря дано высочайшее разрешение на ваш приезд...

— Только благодаря вам, Павел Львович! Кроме вас да Егора Федоровича, никому нет дела ни до меня, ни до моих записей. И ежели бы не вы...

— Полноте, полноте, никакой тут моей заслуги нет! А ежели говорил о вас, то движимый единственно мыслью о науке. И не вздумайте благодарить меня, ни!.. Это мы вам обязаны... Жаждем скорей с новыми трудами вашими познакомиться. Как «Сан Цзы Цзинь»? У меня мысль насчет китайского текста... Знаете, давно литографским искусством увлекаюсь... Думаю по новой методе гиероглифы воспроизвести. Впрочем, простите! Вы только прибыли, а я уже о «Сан Цзы Цзине».. Ради бога, простите! Чем же вам полезным быть?.. С дороги вы, верно, и не ели еще! Тут у меня кулечек за дверью. Нельзя ли молодых монашков о самоваре попросить?..

Монашек, прислуживавший новому, странному обитателю лавры, не

уставал изумляться. Да они оба чернокнижники! С православной русской речи то и дело переходили на лающий, несомненно, бесовский язык, и оба радовались. Чему только? По-русски говорили загадочно, вставляли незнакомые слова, хватались за фолианты, что привез этот чернокнижник, не по-христиански называли начерченные там знаки. Потом долго что-то рассказывал толстенький, одетый как барин, посетитель. Он поднимал зажженные свечи, упоминал о войне, об огненных взрывах и рисовал на бумаге какие-то черточки. Да, впрямь, не колдуны ли они оба?..

Не терпелось служке рассказать братии, какой чудной, ничуть на монаха не похожий жилец объявился в святой их лавре, где постом и молитвой умерщвляли плоть смиренные иноки, покровительствуемые своим заступником — божьим угодником, победоносным князем Александром Невским.

Время шло, а служка все не отходил от кованой двери, прислушиваясь, что же будет делать новый обитатель дальше. А он, проводив гостя, зашагал по келье, время от времени заглядывая в книги, и, наконец, вынув из черного, блестящего ящика ворох исписанных листков, уселся за стол. Уж и служке надоело стоять за дверьми, а приезжий все перебирал испещренные мелким острым почерком листочки.

Опять он в Санкт-Петербурге. Опять в его жизни, в непонятной этой нелепой смеси взлетов и падений нежданный исход. Признанный преступником против святой церкви, лишенный сана, сосланный с расстригами и вероотступниками, много трудился отец Иакинф в своей ссылке, веря, что придет час, когда обнародует собранное. Теперь снова скорей за работу! Он ведь свободен. Свобода!.. Несбыточным соблазном мерещилась она в валаамской ссылке. Получил ли он ее? Жалка свобода у чернеца, которого государь император высочайше повелеть соизволил перевести из Валаамского монастыря в Александро-Невскую лавру. И здесь те же мрачные тени, лицемерное смирение и ненавистная тупая нетерпимость, следующая за ним повсюду с самых детских лет.

Но в Петербурге есть друзья, верящие в него, готовые помочь. Всеведущий Павел Львович Шиллинг, чьи суждения о Китае лишены распространенных предрассудков. Немалые знания у Шиллинга в естественных науках. Известный ученый первый протянул руку отцу Иакинфу, когда обвиняемый в преступлениях против святой церкви архимандрит предстал перед синодским судилищем.

— Оправдывайтесь, отец Иакинф, — требовал Шил-

линг. — Доказывайте свою правоту, объясните Синоду, что сделанное вами возвеличит церковь более, чем если бы вы даже во стократ приумножили число обращенных в православие!..

Оправдываться, объяснять, доказывать! Но церковный синклит все равно осудил бы его. Ведь были доносы Булгакова...

Только один человек понял бы и помог бы ему. Тот, кто вольно или невольно привел его к ясной цели. Но нет его уже в живых. Почил митрополит Амвросий Подобедов. И никто сейчас не спасет монаха, обвиненного в неисполнении своего пастырского миссионерского долга.

Отец Иакинф не старался ни оправдываться, ни разубеждать.

И его осудили, — это было предрешено, — замаливать грехи в Валаамской пустыни.

Верный друг науки Шиллинг не мог примириться.

— Нам так нужен ваш словарь! — твердил он. — Только вы можете закончить этот титанический труд. Никто до вас не мог и мечтать увидеть тысячи гиероглифов, переведенных на европейский язык.

Его первый труд там, в Пекине! Китайско-русский словарь, доставшийся путем стольких заблуждений, трудностей, казавшихся непреодолимыми. Четыре раза переписывал он его, каждый раз исправлял и дополнял, добиваясь точного приближения начертаний к русскому обозначению. Он разделил его на девять томов, приготовив, наконец-то, к изданию. Значит, словарь его будет служить людям. Скоро закончит он и перевод китайского словаря, которым пользуются в монгольских аймаках.

Что же еще ему надо? Теперь он сможет издать переводы китайских сочинений, рассказать правду о жизни и обычаях Чжунго — страны, другом которой стал. Русский вероучитель полюбил ее народ. Никогда не забыть И-лаое своих китайских друзей, за чьими церемонными словами и витиеватыми изъявлениями вежливости он научился распознавать чистоту помыслов, утонченную чуткость, боязнь хотя бы намеком, неосторожным напоминанием обидеть, оскорбить близкого.

Впереди еще переводы трудов китайских историков, рассказавших о судьбах племен, сопредельных Китаю и родственных народам России. Эти летописи помогут восстановить правду о происхождении среднеазиатских и сибирских племен.

...Уже снова благовестили к заутрене, когда новый монах Александро-Невской лавры отодвинул лежавшие перед ним

исписанные листки. Он оглянулся на узкую койку в сводчатой келье и усмехнулся. Сейчас он уснет. Пусть служки доносят кому хотят, что новый монах не пошел к заутрене. Все о нем, конечно, будет известно. И к заутрене он не пойдет. Пусть примирится с этим начальство святой обители. Он не только монах — он еще и чиновник, рескриптом самого царя утвержденный в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел Российской империи.

Через день он появился в чопорных анфиладах Министерства иностранных дел. Чиновник в рясе!.. Но это никого не удивило. Важный швейцар, снимавший с отца Иакинфа шубу, сразу догадался.

— В Азиатскую экспедицию пожаловали? — и попытался подойти под благословение.

Эти коридоры отец Иакинф проходил еще в рясе архимандрита в первый приезд после Пекина. Ничего за четыре года не изменилось, так же презрительно и невесело смотрели со стен цари и царицы, так же сверкал навощенный пол и у скользивших по нему чиновников развевались фалды вицмундиров.

Тимковский, конечно, был рад непритворно. Как и до путешествия в Китай, Егор Федорович начальствовал над отделением, ведавшим делами кочевых народов, киргиз-кайсацких орд и всех прочих азиатских народов. Сюда-то и относился Китай.

— Должен вас порадовать, — начал Тимковский, усаживая посетителя в неудобное, украшенное бронзой кресло. — О Китае все чаще речь поднимается. И не только в нашем департаменте, но и в министерских кулуарах... Да и все петербуржцы желают, наконец, узнать правду о Китае...

Отец Иакинф не преминул вставить:

— Сему уже помогла книга ваша о путешествии через Монголию в Пекин...

— Труд мой ничтожен по сравнению с тем, что можете сообщить о Срединном государстве и его жителях вы, дорогой отец Иакинф. Кстати, знаете ли, что немедля приказано представить вас директору департамента?

Действительный статский советник Константин Константинович Родофиникин управлял Азиатским департаментом, потому что, побывав по разнообразным поручениям в оттоманской блистательной Порте, прослыл знатоком восточных дел. Но этот толстый, хитрый грек вовсе не скрывал своего неведения относительно страны с населением в триста пятьдесят миллионов душ. Его высокопревосходительство часто повторял:

— Загадочная держава!..

Да вот хотя бы чем объяснить неурядицы на границе? Китайским властям шли навстречу. Но маньчжуры, представляющие на Амуре власть богдыхана, ищут повода к ссорам. Напыщенные мандарины чванливы и обидчивы, им ничем не угодить, жалуются амурские пограничники. Из-за каждого перебежчика, несчастного китайского крестьянина или солдата, военачальники богдыхана затевают стычки, требуют немедленно выдать беглых. А как их найти? Да и не пристало Российской державе отказывать людям в убежище.

Иркутский губернатор, к которому адресовались мандарины, то и дело доносил об инцидентах на амурской границе, на что из Азиатского департамента отвечали: «Умиротворяйте».

Никто в департаменте не собирался изменить в сношениях с богдыханом политике деликатности и осторожности. Ведь повелось так еще со времен Посольского приказа!

Давая аудиенцию отцу Иакинфу, Родофиникин сверкнул заплывшими жиром глазками и выдавил подобие улыбки, скривившей толстые губы.

— Как докладывали господин Тимковский и барон Шиллинг, вы можете предоставить в распоряжение министра немало полезных сведений о великой соседственной державе. Помните, что этим интересуется не только министр его высокопревосходительство граф Нессельроде, но и, — не считаясь со своей непомерной толщиной, Родофиникин чуть привстал, — но и его величество... Не сомневаемся посему, что надежды, на вас возлагаемые, как и высочайшая милость, оказанная вам, будут оправданы...

На сем аудиенция закончилась.

Потом, затащив в свой кабинет, долго говорил милейший Егор Федорович:

— Вам, новому чиновнику, надлежит знать, чем живет сейчас министерство. Конечно, более всего волнуют ныне дела турецкие, от коих зависит умиротворение Греции. Доставляет беспокойство и Персия: начатые с лета военные действия против нее все еще не пришли к концу. Но, добавлю к вашему удовольствию, о сношениях с Китаем в высших сферах задумываются. Правда, у нас обеспокоены вмешательством Великобритании в дела Срединной империи и открытием для торга с англичанами китайских портов...

Егор Федорович в заключение сказал:

— Беседы наши я не забыл и всегда их в памяти беречь намерен. Попрежнему согласен с вами, что нашему отече-

ству надлежит навечно следовать пути, который правители ее избрали еще два века тому назад. Путь сей — путь искренней дружбы и доброго сотрудничества с великим нашим восточным соседом.

— Вернейшее замечание! — горячо подтвердил Павел Львович Шиллинг, подоспевший к концу беседы. Он назвал отца Иакинфа своим учителем в науке о Востоке и ученым, сумевшим открыть Китай заново.

Лестно слышать подобные слова из уст такого человека. В Азиатском департаменте нет никого более Шиллинга сведущего и образованного. В занятиях своих он следует не чужим авторитетам, а собственным мнениям и неустанным трудам. Без предрассудков изучает Восток, опережая европейских ученых, проводит электромагнетические опыты, совершенствует литографское искусство. Его стараниями учреждена при иностранной коллегии первая литография в России. Будучи в Баварии, вывез оттуда литографские камни и теперь задумывал новые, еще и баварцам не известные улучшения в искусстве печатания.

Из министерства отец Иакинф вышел под вечер и вдруг решил поехать туда, куда рвалось все существо его. К названому брату его, Сане. Он, Таня и дети их сейчас в Петербурге. Перемены к лучшему произошли у дорогих друзей его. Приглашен Александр Карсунский адъюнктом в Санкт-Петербургский университет. Состояние семьи приумножено наследственным имением. Ну что ж, он рад счастью и благополучию близких людей. Но как встретится он с той, которую напрасно старался забыть в суетных увлечениях молодости?.. Не раз Танины черты вставали перед ним и в минуты отчаяния и в светлые часы его жизни... Он гнал воспоминания. Редко разрешал себе ворошить далекие, не тускнеющие страницы прошлого. Вдруг ясно, как будто было это вчера, увидел Саню стремительно несущимся по семинарскому коридору. Дружок увлекает его за собой. Как хорошо, что в сводчатую нишу, куда затащил его Саня, почти не доходил свет из узкого оконца.

— Никитушка... Узнай о моем счастье... Мы с Таней обручились. Сама велела тебе первому сказать о нашей радости.

Никогда не винил он ее за это. Расставшись с Саней, направился в покои митрополита. Преосвященный Амвросий оторвался от занятий, чтобы выслушать. Наверное, увидел, как странен взгляд любимца.

— Сын мой...

— Я согласен на постриг... Передумал, не хочу оставаться в миру. Вы правы, удел мой — наука...

— Твердо ли решение? Внезапно оно... Уверен ли, что ничто не удерживает в миру?

Испытующе смотрели глаза покровителя. Никита выдержал взгляд. Решение неизменно. В миру его ничто не прельщает.

— Хорошо, сын мой. — Рука преосвященного коснулась лба юноши. И он понял: так же, как и когда-то, к нему, будущему монаху и ученому богослову, преисполнен жалости этот странный человек в священническом облачении.

...Таня держала его за руку и, совсем как в домике на Арской улице, восклицала:

— Саня, какой гость у нас!.. Да скорее же, Саня!..

Александр обнимает его, и все трое глядят друг на друга. Радостное волнение встречи сменяют другие чувства. В них и горечь и сожаление, потому что виднее после разлуки следы времени.

Татьяна Лаврентьевна приказывает позвать дочь, и девочка с темными косами подходит под благословение гостя. Он только проводит рукой по ее голове. Видит детские черты той, которая сейчас поправила седеющие волосы,

и, не отрывая от него потускневших, но все таких же милых глаз, молча спрашивает: «Забыл ли? Простил ли?..»

Он целует девочку. Каким странным, наверное, кажется ей этот чужой стареющий монах, которого отец и мать называют Никитушкой и уверяют, что вместе они играли в горелки и лазали на яблони в бабушкином саду! Еще больше удивилась Танина дочь, когда гость раскрыл крохотный костяной веер. До чего занятная игрушка, от нее невозможно оторвать глаз!

— Это тебе, — говорит девочке монах. — Там, где я жил, такими веерами обмахиваются дети и читают то, что написано под картинкой:

Дети без учения
Ничего не обещают хорошего.
Если в детстве не научатся,
Чего же ожидать от них в старости?

— Мой друг, — говорит Татьяна Лаврентьевна. — Вы должны рассказать о своих путешествиях, о заморской жизни, о ваших друзьях-китайцах. Верны ли все удивительные вещи, что о них пишут?

Отец Иакинф вспыхивает:

— Чушь!.. На грош правды нет! Не видавши страны, берутся писать, осмеивают обычаи. Измышляют нелепости о народе, у коего немалому поучиться следует. А некоторые наши соотечественники, как попугаи, повторяют домыслы невежд. И льстиво именуют их синологами.

Карсунский глядит на друга с обожанием, к которому привык с семинарских времен. Ему ли не помнить, как безвестный чувашский мальчуган пугал учителей неожиданными ответами? Не зазубренными правилами довольствовался маленький грамматик — в самую суть греческих и латинских текстов проникал пытливым умом.

Давно не испытанный покой снисходит на гостя. Он читает в глазах друзей молчаливую просьбу: пусть считает их дом своим.

Придвинув стул, Карсунский говорит о работе в университете, о курсе, который читает студентам. Горечь в его словах:

— На все наложен запрет... Приказано соблюдать благонамеренность в воспитании молодежи. Лекции проверяются цензурой. Еще бы!.. Видения Сенатской площади живут в глазах правителей. Смяты все мечты о свободе... Этого слова произносить не смеем... Небывалым жестокостям стали свидетелями. Все запуганы... Беседы, которые когда-то в саблуковском доме велись, сейчас бы посчитали нетерпи-

мой крамолой. Хорошо, что старик Саблуков не дожил до унизительных времен. Помнишь, как ждал, что наступят и в нашем отечестве перемены? Как торжествовал, когда весть о французской революции дошла до Казани! Иным идеалам служит сейчас общество, всюду произвол, насилие.

Узаконенное рабство, насильственное подчинение чужой воле отец Иакинф испытывает на себе. Не потому ли его так душит ворот рясы? Ненавистная, черная одежда монаха!..

Глава пятнадцатая

В оконце своей кельи отец Иакинф видел угол покоев митрополита и часть старого кладбища с крестами и обелисками, с могилами полководцев и сановников. Скользнув по ним, солнце бывало по утрам заглядывало в келью, и тогда на шелковых вышивках, которыми Иакинф украсил стены, переливались любимые узоры. Листы и цветы сливы на фарфоровых вазах, расставленных на полках, казались совсем живыми.

Фигурки из слоновой кости, стройная пагода всегда были перед его глазами, когда садился за письменный стол. Принимался он за труд после ранней заутрени. Трапезовал у себя. Он не посещал служб в храме и не соблюдал постов. Но монастырскому начальству пришлось с этим примириться. Знатные покровители почитали Иакинфа ученым. Потому митрополит разрешил ему молиться в келье. Пускай думают, что он молится.

Стараниями Шиллинга и Тимковского ему позволили являться в департамент в дни, когда сам того пожелает. А в обязанность вменили делать переводы китайских текстов и актов, поступающих из Пекина.

Наконец-то русское правительство задалось целью изучить внутреннее положение, условия жизни и нравы Срединной империи! Однако в сношениях с ней все оставалось по-старому. Иные события тревожили Министерство иностранных дел: приказал царь Николай Первый «овладеть ключами от своего собственного дома», то-есть отнять проливы у турок. Объединившись с Великобританией и Францией, Россия начинала военные действия против Порты. Эскадра союзников угрожала Махмуду Второму в турецких водах.

Азиатскому департаменту после усмирения киргиз-кайсаков поручили умиротворение Персии, для чего послан был к шаху полномочный министр Александр Сергеевич Грибоедов.

В отделении восточных языков, учрежденном при министерстве, профессор Сенковский совершенствовал знания молодых дипломатов в турецком, персидском и арабском диалектах. А Шиллинг настаивал, что чиновники, знающие китайский язык, куда более России надобны. Готовил Павел Львович прожект о создании китайской школы, где бы языку Срединного государства обучали с детства, ибо хорошо познать речь подданных богдыхана можно лишь годами упражнений. Но прожекту ходу не дали: торговля с Китаем, говорили, того не заслуживает. Давно уже не ходили русские караваны в Пекин, а операции с китайскими купцами ограничивались сделками в Кяхте и Маймачене. Об одном продолжали заботиться в министерстве: вести переговоры с китайскими властями, не возбуждая недоверия и подозрительности. Когда из-за небрежности ургинских амбаней задерживалась почта пекинской миссии, то свыше указали принять нужные меры, так, «чтобы сии действия паче всего имели основанием осторожность, дабы какой-либо скользкой мерой не озлобить ургинцев».

Интерес к Китаю зародился еще с тех пор, как купцы, добиравшиеся до Великой стены, и мореплаватели, бросавшие якорь в китайских портах, навезли оттуда фарфор, шелка, редкостные безделушки из лака и кости. Искусные эти изделия и всяческие под них подделки почитались драгоценными. Случалось, отдавали за них целые состояния. Богачи разбивали в своих поместьях сады и парки на китайский манер, строили беседки с драконами на выгнутых крышах. В Царском селе еще при Екатерине Второй можно было любоваться китайской деревенькой, где домики были сделаны и раскрашены будто по вкусу мандаринскому.

А что было написано о Китае?.. Отец Иакинф сердито отбрасывал книгу за книгой. Друзьям говорил: «Только неучи и верхогляды могли подобное о китайском народе написать! Судят о нем по поверхностному обозрению, чем немало вреда приносят, переносясь от одного ложного заключения к другому».

Пора россиянам узнать правду о великом восточном соседе. Петербургский журнал «Северный архив» поместил ответы на вопросы, заданные российскому путешественнику Крузенштерну негоциантом Вирстом, который допытывался, что же суть верное и что ложное в мнениях, о Китае распространяемых.

Ответил на это отец Иакинф. Вернее, дополнил и исправил Крузенштерна.

Негоциант Вирст допытывался: «Есть ли в Китае имущие из частных людей? Владеют ли они обширными поместьями или имение их, яко торгующих, состоит в товарах?»

Не напрасно русский далама бродил по торговым кварталам Пекина и беседовал с купцами.

«Великие богачи не редкость в Китайском государстве. Имущество иных оценивается выше пятидесяти миллионов рублей. Велико число и средственных капиталистов; бывают они из чиновников, но чаще из торговых людей.

...Что же касается земли, то вся она принадлежит собственникам, ибо и чиновники и богачи из торговых людей стараются иметь капитал, состоящий из земель.

...А рядом с богачами можно насчитать в Китае немалое число рук, простирающихся к работе, но не находящих ее, ибо далеко превосходят нуждающиеся количество предоставляемой работы».

Таков был Китай, который показал отец Иакинф в ответах негоцианту Вирсту.

«Рабочие в нем с трудом могут содержать себя, ремесленники, в особенности семейные, вообще нуждаются в пропитании».

Отовсюду обращались к отцу Иакинфу, чтобы поделился своими знаниями о неведомой стране. Для «Московского вестника» просил Погодин, чтобы коротко и доступно сообщил читателям о времяпровождении богдыхана. И он это сделал охотно, назло тем, которые повторяли нелепости, что правитель Китая, называемый Сыном Неба, якобы в самом деле божественностью осенен.

К этой статье отец Иакинф отсылал докучавших в петербургских гостиных, куда затаскивал его Павел Львович Шиллинг, а знакомых у Шиллинга было пропасть. И в светских салонах и в скромных комнатах Карсунских, когда собирал хозяин университетских товарищей и студентов, встречали отца Иакинфа как желанного гостя.

После годов, проведенных вдалеке от родины, после ссылки он сближался с людьми, заново входил в события, отзвуки которых еще не умолкли. Правду сказал вольнолюбивый друг: все присмирело и оцепенело в России после 14 декабря! Но, как повторял Карсунский, не мог не доходить до честных людей стон из сибирских рудников. Пускай говорили в кружках больше об искусствах и науках, спорили о чистой философии. Все же узнавал отец Иакинф в своих собеседниках людей ума благородного и возвышенного.

В пестрых сборищах различал и просто любопытных, считавших его забавным чудаком. Знал: сплетничали, будто совсем он окитаился, пребывая в стране диковинных обычаев, где мужчины носят косы, а женщины уродуют ноги.

Немало смущал он завсегдатаев салонов, появляясь в своей скромной черной рясе среди дам в бальных туалетах и франтов во фраках. Но знакомства с ним искали. Об этом ученом монахе передавали удивительные истории. Шептались, что он весьма далек от благочестия и смирения церковнослужителей. А тут еще барон Шиллинг, сам слывший не то Фаустом, не то новым Калиостро, называл отца Иакинфа первооткрывателем Китая. В великосветских гостиных допытывались, сколько жен в гареме богдыхана, какими чарами увлекают юные китаянки посетителей чайных домиков. Отец Иакинф умел пресечь болтовню. Изъяснялся по-русски, окая, как истый волжанин, но употреблял и французский диалект, ставя собеседника в тупик прямотой слов. Обижаться на него не смели. Его печатали столичные журналы, еще когда он был в ссылке, а в парижском журнале «Монитер» появилась статья, где перечислялись переведенные русским синологом сочинения. Говорилось в статье, что труды эти столь велики, что изумляют научный мир. Понять нельзя, как один русский мог совершить то, на что потребовались бы труды целого ученого общества. Этакая похвала, и не где-нибудь, а в парижском журнале!

Не побоялся и «Московский вестник» напомнить о валаамском узнике. Издатель журнала, магистр Московского университета Михаил Петрович Погодин, переведя статью из «Монитера», добавил, что «успехов в трудах своих монах Иакинф достиг потому, что превосходно выучился языкам китайскому и маньчжурскому. Будучи же классически подготовлен воспитанием в духовном училище к философическому познанию вещей, с великим успехом занимался литературой китайской и маньчжурской».

Итак, Россия уже начинает сообщать Европе важные сведения об Азии, не без гордости замечал «Московский вестник». Недаром поспешили в Париже перевести и записки Тимковского о путешествии, совершенном через Монголию в Китай. Но почему столь свободно обращаются европейские ученые с трудами русских? Барон Клапрот, преподававший восточные языки в Париже, взялся исправлять дневники Тимковского!

«Но верны ли замечания господина Клапрота? — спрашивал Погодин в своем журнале. — И почему господин Клапрот с особенным ожесточением нападает на почтенного литератора нашего отца Иакинфа, который со всем друже-

ским радушием помогал господину Тимковскому, доставляя ему сведения и переводы сии».

Статья в «Московском вестнике» разоблачала Клапрота:

«Почему мы должны верить господину Клапроту, ежели он, приводя русские слова и фразы, делает беспрестанно ошибки?»

Клапрот уверял, что знает не только по-китайски, но и изучил «наречие формосское, сирийское, малайское».

«Но где же успел он научиться всем сим языкам? — допытывался Погодин. — Не сидя ли в кабинете и лишь проехавши наскоро в Ургу и Грузию и из Петербурга в Париж?»

— Невозможно оставить без ответа упражнения господина Клапрота! — взывал к отцу Иакинфу Погодин. — Пора положить предел несносной хвастливости и смешному умничанию сей европейской знаменитости.

Это было продолжением давнего спора. Еще в Иркутске прикомандированный к посольству графа Головкина адъюнкт Императорской российской Академии наук барон Клапрот обиделся на архимандрита Иакинфа. Клапрот ссылался на европейские авторитеты, к ним он причислял и себя. Клапрота поддерживал его сиятельство. Отец Иакинф нажил двух врагов.

— Нет авторитетов, которые не нуждаются в проверке. Беда наших ученых в том и состоит, что не умеют смотреть на вещи своими глазами.

И это заявлял служитель церкви!

Клапрот продолжал защищать авторитеты. Он убеждал ориенталистов, что китайский словарь Иакинфа Бичурина не больше, чем переложение с латыни. «Нет иного ключа к китайскому языку, — заявлял барон, — кроме латинского словаря иезуита Глермона».

Как объяснить Клапроту, что не в тиши ученого кабинета, а у самого народа китайского обучался языку русский синолог? На улицах Пекина прислушивался к говору людей и, вступая в беседы с прохожими, как мальчишка, радовался, когда его понимали. Нет, не повторит отец Иакинф ошибки синолога Абель-Ремюза, который, выучившись в Париже читать по-китайски, не смог объясниться с приехавшими во Францию китайцами.

Отец Иакинф ответил Клапроту коротко. В погодинском журнале ученый сообщил, что переводить с китайского учился по изъяснению своих учителей, записывая каждое встретившееся китайское слово на русское произношение, не прибегая к посредникам.

К полемике синологов прислушивались. И в Европе и в России находились злорадствующие, которые в словах

Клапрота усматривали своевременное напоминание: рано русским ученым с европейцами равняться, а тем более европейские авторитеты свергать.

Молва о нем и споры не трогали отца Иакинфа. Вечера, что проводил в обществе друзей, случалось и за зеленым столом, не изменяли порядка занятий, которому положил следовать. Усевшись с первой зарей за стол, не поднимался, пока не доводил до конца заданного урока, не обращая внимания, что пальцы, державшие перо, деревенели от усталости. Хотя несколько научился смирять взрывы гнева, все же не сдерживался, громко бранился, если взятый им слуга входил в часы занятий в комнату или тревожили неурочные посетители. И те, для кого готов был сделать исключение, не решались обращаться к Иакинфу, когда располагал он заняться делом. Знали: в такие часы весьма резок. Поглядит недовольно и, отвернувшись, процедит:

— Сударь мой, беседу сейчас считаю убитым временем...

В журналах писали, что отец Иакинф совершил уже для науки то, что могло прославить десятки ученых. Сам он полагал сделанное только началом. Целью поставил — дать людям полную и верную панораму Срединного государства. Но убежден был, что приведет к немалым заблуждениям, если преждевременно обнародует этот труд. Мысль свою объяснил:

— Пусть читатель сначала ознакомится со странами, лежащими на пути к Чжунго: Тибетом, Тюркистаном, Монголией. Они издавна в тесных связях. Не чрез них ли связывался Китай с Индией, Средней Азией и Россией?

Не было дня, когда бы не возвращался ученый к китайским источникам. Давно задумал извлечь из них и перевести сведения о народах, обитавших в Средней Азии в древнейшие времена. Записи славных китайских историков опровергали ложь домыслов. И это неудивительно. На Западе привыкли черпать сведения лишь у греческих летописцев. Но разве античные историки всегда были свидетелями давних событий? Многое заимствовали со слов странствующих торговцев, часто выдававших сказки за истину, приносивших известия сбивчивые, неточные. Потому немало превратных понятий в сочинениях, сообщающих о народах, когда-то населявших азиатские просторы. Ошибались и Дегинь в своей истории хуннов, тюрков, монголов, и Клапрот в записках об Азии, да и другие авторы. В тяньшаньских племенах усунь иные усматривали прогерманские племена. Отца Иакинфа это немало сердило.

— Видали?! — делился он со своими собеседниками. — В Чжунгарии отыскали следы германизма! И это, хотя да-

же запаху германского там не было. Открыли, что племя усунь финского происхождения. Чем же, говорят, иначе объяснить, что среди усунь встречались русоволосые и голубоглазые? До каких нелепых заключений доводит нас тщеславное стремление делать открытия, руководствуясь мечтательными предположениями!

Впрочем, повторяю, чему удивляться? Никто из этих авторитетов не читал китайской истории во всей ее обширности. А то, что читано без связи с целым, невозможно понять ясно и правильно.

...Лучшие из соотечественников выказывали сочувствие трудам Бичурина. И первым среди них был Александр Сергеевич Пушкин.

Как радовался отец Иакинф, когда после первой беседы с Пушкиным приметил в поэте живой интерес к народу, о дружестве к которому сам он не уставал твердить.

О встрече, о знакомстве с Пушкиным говорил у Карсунских. Татьяна Лаврентьевна требовала, чтобы передавал каждое слово поэта.

— Так вот, сказывал Пушкин, что вольтерово сочинение «Китайская сирота» знал с юности, — говорил друзьям отец Иакинф. — К суждениям Вольтера поэт присовокупляет свидетельства соотечественника: в бытность в Одессе сблизился Александр Сергеевич с Вигелем, что со свитой Головкина путешествовал. Помню и я сего дипломата. Да только дальше кяхтинского Маймачена Вигель не пошел. Поэтому, хотя красочно свои впечатления описывал, лишь поверхностное мог Пушкину сообщить.

Беседуя с Пушкиным, припомнил отец Иакинф, как добирался до границ Китая.

— Проезжая через степи Монголии, не воображаем, а глазами видим пастушескую жизнь авраамовых времен. И все же на жизни кочевников нельзя не ощутить руку, простертую из-за гор Тибета. Пастухи-монголы в страхе перед ламами твердят бессмысленные молитвы, детей с младенчества отдают в монастыри. Несут в храмы последнее. И все для того, чтобы толпа одетых в желтое служителей Будды жила подобно трутням.

Рассказывал поэту, как в книжной лавке своего друга набрел на записки китайского чиновника Ли Хуа-чжу, в 1796 году отправившегося в Тибет по поручению богдыхана.

Пушкин с любопытством вслушивался, просил дать ему перевод записок. Когда увидел рукопись, с немалым инте-

ресом вглядывался в приложенную к ней карту Лхасы — города праведных, — как именуют свою столицу тибетцы. Китайский художник изобразил дворцы и храмы, сады, озера — владения тибетского далай-ламы, замок на озере, в давние времена построенный тибетским ханом для плененной царевны.

— Когда Пушкин оторвался от карты, — делился отец Иакинф с Татьяной Лаврентьевной, — показалось мне, что стал невесел. «Заманчиво было бы, — говорит, — побывать в тех местах, да только мне это заказано». А я и скажи: «А почему бы, государь мой, не совершить вам этого путешествия?»

— Ну, и что же Пушкин? — допытывалась Татьяна Лаврентьевна.

— Улыбнулся и посмотрел хитро. «А ведь это мысль, — говорит, — над этим стоит подумать».

Первая книга отца Иакинфа нашла поддержку. Еще когда только готовил ее, посетил Одоевского. Владимира Федоровича Одоевского называли другом литераторов и ученых. Сам он увлекался Востоком, писал романы, статьи о химии, музыке, математике и поэзии, высказывая порой суждения оригинальные.

— Одна ваша прекрасная почитательница ждет вас нынче, — сказал Одоевский и потащил гостя в салон к жене.

У княгини Одоевской слушали пение. Женщина ослепительной красоты стояла у клавесинов. Ей аплодировали, и Одоевский успел шепнуть, что о певице этой знаменитая парижская актриса Марс сказала: «Как жаль, что такой талант достался на долю светской женщины!» То была княгиня Зинаида Волконская. Московские ученые избрали ее почетным членом Общества истории и древностей российских, столичные альманахи печатали ее статьи и путевые заметки. С юности объездила Волконская почти все страны Европы.

Оставив поклонников, Волконская подошла к отцу Иакинфу.

— Литературой о Китае увлекаюсь с детства, — призналась княгиня. — В библиотеке отца было много книг о Востоке. Интерес к нему до сих пор сохраняю.

Говорила она умно и просто, суждения ее показывали образованность.

— Согласна с вами, — сказала Волконская, — что много превратного и неосновательного утверждают о Китае. С любопытством слежу за вашими сообщениями в журналах. От Пушкина и князя Одоевского слыхала, что вы перевели с китайского больше, нежели все европейские

синологи, вместе взятые. Знаю о нападках на вас... Надо добиваться, чтобы труды ваши скорее увидели свет.

В словах княгини слышалось участие. Ученый решился сказать, что для издания книг испытывает денежные затруднения.

— Может ли это служить препятствием? — возразила Волконская. — Друзья русской науки помогут вам.

Так нашлись средства на выпуск первого труда Бичурина «Описание Тибета». В память помощи Волконской поставил отец Иакинф на титульной странице посвящение княгине. На книге, подаренной Пушкину, начертал: «Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения».

Описание Тибета дало средства на издание других трудов. Без промедления сдавал их автор в типографию. Цензоры жаловались на такую поспешность:

— Не успеваем прочесть одно сочинение отца Иакинфа, как уже другое за ним следует!

После «Описания Тибета» вышли «Записки о Монголии». Это были не только впечатления русского ученого о жизни и обычаях кочевников, разбросанных по обширным степным аймакам. Автор рассказывал историю народа, его законодательство, объяснял государственное устройство, приводил извлечения из монгольских и китайских подлинников. Отец Иакинф перевел их, ведь он всегда повторял: «Путешественник, не знающий языка обозреваемой им страны, не может избежать ошибочных о ней суждений».

Книга была открытием. Но уже не далекой, за недосягаемыми горами страны, а той, равнины и пески которой лежали рядом. Монголия!

«...Она занимает важное место в истории, — подтверждал Погодин в «Московском вестнике», приветствуя новый труд ученого. — В сих странах обитали народы, которыми произведены великие перевороты в древней и новой истории, и между тем о ней знали очень мало верного и обстоятельного. Мы должны гордиться, что наш соотечественник пролил свет на сию достопримечательную страну.

...Его книги поистине открывают новые страны, и самое ценное, что это не заморские царства, а земли, с которыми судьба нашего отечества связана.

...Честь и слава сочинителю, обогащающему литературу такими драгоценными сведениями!» — заключал Погодин.

А цензоры уже читали извлечения из китайских летописей о Чжунгарии и Восточном Туркестане.

О трудах Иакинфа писали в Европе, а он попрежнему

оставался узником в монастыре. Но труды его доходили до людей. Дороже всего было, что достигали тех, к которым питал самое светлое и живое чувство. Не сам ли Пушкин оценил сделанное русским синологом, защищал его от клеветы и нападок! «Литературная газета» писала:

«Ученый наш ориенталист отец Иакинф Бичурин нашел лучший способ отвечать заграничным своим критикам: он напечатал переложение Китайской энциклопедии для детей вместе с китайским текстом.

Таким образом все истинные и мнимые знатоки языка китайского могут сличать перевод с подлинником и говорить уже не наобум, не по догадкам, но основываясь на самой сущности дела и на явных неоспоримых доказательствах, то-есть с обоими текстами в руках».

Воспроизвести китайский текст взялся Шиллинг. Хотя занят был Павел Львович электромагнетическими опытами, пробовал уже в действии свой телеграф, нашел время, по собственному методу отпечатал иероглифы.

В Европе, получив в русском издании книгу, уверяли, что напечатана она в Китае. Дивясь чистоте и верности оттисков, знатоки китайской письменности не могли постичь, каким путем добивались такого совершенства русские литографы. А удалось это Шиллингу потому, что придумал не просто рисовать иероглифы на камне, а вытравлять его поверхность, оставляя китайские письмена в виде выпуклых знаков. После же печатали их на обыкновенных типографских станках.

Радовало синолога, что Пушкин тепло встретил книгу, по которой обучались китайские школьники. Строки «Литературной газеты» говорили:

«Читателям русским, конечно, любопытно будет познакомиться с понятиями и правилами, какие преподаются юношеству Срединного или Небесного царства. Книга сия вполне удовлетворит их любопытство».

В газете напечатали начало ее:

Люди рождаются на свет
Собственно с доброй природой,
По природе взаимно близки,
По навыкам взаимно удаляются.

«От переводчика», — написал Бичурин на книге, передавая ее Пушкину.

— Вы больше, чем переводчик, дорогой отец Иакинф, — отозвался Александр Сергеевич. — Собственные ваши примечания не менее любопытны. Вы знакомите нас с истинным значением мудрости китайской. — И поэт прочитал:

Если яшма не обработана,
Не может стать вещью,
Если человек не обучается,
Не может познать справедливости.

Не только маленьким китайцам стоит запомнить эти слова!..

После «Троесловия» Бичурин напечатал описание и план Пекина.

Шаг за шагом вел отец Иакинф читателя по улицам и площадям города с желтыми черепицами кровель, где с весны до поздней осени шелестят листвой зеленеющие ивы, по улицам которого, подобно многоводной реке, движется толпа трудолюбивых, вежливых людей.

Об этих людях ученый будет и впредь говорить без тьмы предрассудков. И он уже сказал главное. Ведь даже в Императорской Академии наук признали его заслуги. Монаха Иакинфа Бичурина за труды, в которых он рассказал правду о восточных соседях России, за точные переводы китайских текстов избрали российские ученые в число членов-корреспондентов еще Ломоносовым учрежденной Академии наук.

Глава шестнадцатая

Засветло началась в доме Карсунских приятная праздничная суматоха. Нынче, 17 сентября, именины и пятнадцатилетие Сонечки — младшей, любимой, балованной дочери. Одна осталась Сонечка в родительском доме. Давно покинула его старшая дочь, безвыездно живущая с мужем в поместье под Саратовом. Второй год в походах с полком единственный сын Карсунских, молоденький поручик Сергей Александрович.

Нынешнее торжество в доме радостно по-особенному. Обещал обязательно быть к нему Сережа. И не просто приедет Сергей Александрович, а явится героем, участником Турецкой кампании. Удачливы в этом году именинницы. Совпали семейные праздники с общим торжеством в столице, да не только в столице, а по всей империи. Закончилась победным концом война с турками, только-только отгремели пушечные залпы, возвестившие о подписании в Адрианополе мирного трактата.

Пришлось турецкому султану уступить русским немалые владения у Кубани и Дуная. Прекращены бесчинства на греческих землях, заступничеством России объявлена Греция самостоятельной державой. Но на Черном море Россия получила только право прохода торговых судов через проливы.

Умеренность победителя вызвана была отнюдь не доброй волей царя. Нелегко досталось завоеванное. Много полегло русских воинов на далеких землях... Все же когда вошли русские войска в Адрианополь, пришлось султану запросить мира.

Да вот приедет Сережа, расскажет, что происходило на театре военных действий, расскажет правду. Счастье, что

уцелел мальчик! Ранен был в плечо и в голову. Немало изболелось за сына материнское сердце. В мыслях, стремлениях Сережа подобен отцу: мечтает о вольностях, жаждет справедливости. Не был он на Сенатской площади, когда там лилась кровь, но знала мать: сердце сына с теми, кто томится сейчас на каторге.

Татьяна Лаврентьевна хлопочет по хозяйству, заглядывает в буфетную, на кухню, а сама все прислушивается, не хлопнет ли входная дверь, не мелькнет ли на пороге дорогое лицо. А двери сегодня хлопают часто. Вносят покупки, передают подарки имениннице. Суматоха докатывается и до Сониной светелки. Напрасно горничная с пакетом в руках старается неслышно подкрасться к кровати. Соня все примечает.

— От кого это?

— Спите, барышня, рано...

— Какой там сон! Именинница пересмотрела все подарки: новое платье, медальон, брошка... Очередь доходит до пакета.

— Что это?.. — Сонечка ничего не может понять. Переливается яркими красками ткань, цветы, птицы на темном поле. — Да это же китайский костюм! Это для меня от дяди Никиты. Пишет: «Поздравляю дорогую именинницу. А в подарок от меня одежа, что носят девушки в Китае. Тебе, черноглазая, она будет к лицу...»

Весь дом сбежался, чтобы полюбоваться барышней, наряженной китаянкой. Загляделась на дочь и Татьяна Лаврентьевна. Девочке и впрямь идет этот пестрый наряд. Как же он внимателен, дорогой друг!.. За своими трудами не забывает о близких. Дни и ночи Никитушка, дядя Никита, как зовут здесь отца Иакинфа, проводит в занятиях, предается им с великим трудолюбием, не щадя ни сил, ни здоровья. И сейчас сообщает в поздравительном письме, что собирался быть у дорогой именинницы пораньше, да, видно, не сможет: задерживает работа.

Опаздывают дорогие гости. Уже давно пробил час обеда, но ни Сережи, ни дяди Никиты нет. Приглашенных зовут к столу. Скрывая беспокойство, Татьяна Лаврентьевна приказывает обнести шампанским. И тогда в столовую врывается молодой Карсунский, а за ним входит отец Иакинф.

Сонечка кидается на шею к брату и с не меньшей горячностью обнимает дядю Никиту. Гостей усаживают на места, которые давно их ждут, и в наступившем молчании раздается Сонин, со смешинкой, голос:

— Дяденька Никита, а знаете, что...

— Соня! — Татьяна Лаврентьевна строго взглядывает на дочь.

Что задумала эта фантазерка? От нее можно ожидать самых неподобающих детских выходок. И вдруг глаза Татьяны Лаврентьевны встречают взгляд отца Иакинфа. Нет, это Никитушка, неловкий юноша семинарист, глядит на нее. По-молодому живые, блестящие глаза говорят: «Да не ты ли это сама, не тебя ли повторяет твоя проказливая дочка!» Татьяна Лаврентьевна смолкает. Соня же, осмелев, выпаливает:

— А мы только что, дядя Никита, хотели положить записочки с вашим и Сережиным именами там, где вы сидите, а потом эти бумажки сжечь. Вы говорили, что в Китае так делают, ежели приглашенные не являются вовремя!..

— Ты, баловница, все перепутала, — отзывается Иакинф. — На записочках пишутся имена умерших. Сии визитные карточки заменяют у китайцев присутствие почитаемых ими предков на семейных торжествах. Но мы-то с Сережей живы...

— Что касается меня, то не думал, что обниму вас, когда в атаке под Карсом сбили меня с коня.

— Ну, ну, сейчас все миновало, — вступается Александр Иванович, замечая тень, набежавшую на лицо жены. — Ты лучше расскажи, какова вблизи страна правоверных.

— Ежели воевал ты под Карсом и Арзрумом, — вмешался отец Иакинф, — может, посчастливилось тебе повидать Александра Сергеевича Пушкина? На сей театр военных действий отправился он еще с лета.

— Да, Никита Яковлевич, — поручик называл отца Иакинфа именем, к которому привык с детства, — о приезде Пушкина в действующую армию весть немедля разнеслась. Все горели желанием взглянуть на поэта... Мне же не повезло. Пушкин у Раевского в Нижегородском полку гостил, вместе с нижегородцами Арзрум брал. А наш эскадрон в это время под Карсом участвовал в стычках.

— Донесся до столицы слух, — вступил в беседу Александр Иванович, — что в войсках восторженно встречали Пушкина. Но кое-кто этот отъезд его преступным посчитал. Не секрет, что за каждым шагом его следят. По своей воле двинуться Пушкину никуда не дозволено ни в пределах России, ни, сохрани боже, за ее пределы...

— Что для Александра Сергеевича особенно тягостно! — отозвался отец Иакинф. — Говорил мне, что путешествия — его страсть, сказывал: как Запад, так и Восток равно его интересуют. О странах и народах азиатских Александр Сергеевич судит с большой основательностью, проявляет немалую осведомленность.

— Неужели никогда не дадут Пушкину свободно собой распоряжаться? — не сдержал негодования Сережа. — Позор для России, что первый ее поэт подобен узнику, которого воспел! Помните, орел взывает к узнику:

Мы вольные птицы, пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляет лишь ветер... да я!

В доме Карсунских знали наизусть сочинения Пушкина. Старший Карсунский продекламировал из первой, с таким восторгом всеми встреченной, главы «Евгения Онегина»:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей...

— Не надо доказывать, что прозорливому уму Пушкина нужны новые наблюдения, гению должно дать простор, — продолжал отец Иакинф. — И Восток привлекает его не праздным любопытством. Он задумал серьезные исследования. Сношениям с Китаем большое значение придает. Упоминал, что, роясь в архивах, обнаружил грамоту, присланную молодому Петру императором Канси. Там же нашел записи о посылке Петром казенных караванов в Пекин. Еще Петр понимал, что это поведет к умножению доходов государства...

— О, Никита Яковлевич, если вы Пушкину рассказывали о Китае все то, что здесь мы слыхивали, не удивлюсь, ежели Александр Сергеевич туда отправится... — вставил Сережа, а Соня перебила брата:

— И я хочу увидеть китаянок и разноцветные фонарики на улицах!..

— Друг мой, вы скоро всех уговорите переселиться в Китай, — рассмеялась Татьяна Лаврентьевна. — Но ежели кто в самом деле задумает Китай посетить, как решиться на опасный путь? О тяготах его не вы ли рассказывали?.. Как пали у вас верблюды, как люди от жажды томились, когда ваш караван переходил через страшную пустыню.

— Соглашаюсь, туда в одиночку нельзя... Но Пушкин может присоединиться к экспедиции. С ней и ваш покорный слуга следует.

— Опять! — затревожилась Карсунская.

— Мой путь только до границы. А в Пекин отправляется посольство. Кончился срок миссии, что сменила нашу. Попутно стараниями Павла Львовича Шиллинга замышляется

важное предприятие — экспедиция ученых к границам Срединной империи.

— О, дядя Никита, если вы только поедете, возьмите меня с собой! — воскликнула Сонечка.

— Непоседа, уже видит себя в садах и дворцах богдыхана, — погрозила дочери Татьяна Лаврентьевна. — Впрочем, прелестью карликовых китайских садов можно любоваться в Царском селе.

— Увы, сады, которые называются у нас китайскими, так же далеки от настоящих, как описания китайской жизни от истинного Китая.

Той осенью не только у Карсунских часто беседовали о чудесах страны, скрытой за Великой Китайской стеной. Экспедиция, которую собирал Шиллинг, вызывала широкие толки в Петербурге. В предвидении далекого путешествия Павел Львович отложил свои опыты с электромагнетическим телеграфом.

— Помилуйте, — твердил Шиллинг в кабинетах Азиатского департамента, — пора нам проложить настоящий путь к сближению с Китаем! Почему это предоставлено только Ост-Индской компании? Неужто мы сложа руки будем наблюдать, как англичане, вопреки запретам, отравляют Китай опиумом?.. Против сего российскому купечеству пора выступить, иные товары пускай ввозят в Китай.

Павел Львович убеждал, требовал, доказывал и добился того, что Азиатскому департаменту прибавилось работы. Спешно сочинялись доклады, разъясняющие необходимость отправки вместе с новой духовной миссией знающих людей, «кои могут нужные сведения о торговле у северных границ и западных границ Китая собрать».

В высших сферах отнеслись к докладам благосклонно. Нессельроде начертал на них: «Утвердить». И не только была утверждена экспедиция, но, по настоянию Шиллинга, прикомандирован к ней монах Иакинф. Это было неслыханно. Ссыльный, лишенный сана, осужденный Синодом монах назначался руководить исследованиями в сношениях с Китаем!

Родофиникин сначала испуганно отмахивался:

— Нет, нет, только не этого монаха-безбожника!.. Да он лба никогда не перекрестит!

Шиллинг твердил свое:

— Кто, кроме Бичурина, ваше высокопревосходительство, способен помочь в китайских делах? Выбран в Императорскую Академию наук. Книги его в Париже и Лондоне издаются.

Пришлось Родофиникину подписать прошение об отпуске монаха Иакинфа из обители для ведения научных исследований.

Прошения, вечные прошения! Неужели всегда будет опутан ученый сетями ненавистного монашества? Как вырваться ему из этих оков?!

— Требуй, проси о снятии сана, — уговаривал Карсунский. — Возможно ли совмещать ученые занятия с обязанностями монаха!..

О том же говорил Шиллинг:

— Да, да! В самом деле, какой вы монах? Вы ученый! Буду просить Нессельроде... Лучше всего, ежели он сам обратится в Синод. Мы это сделаем, как только вернетесь из экспедиции. Сошлемся на новые ваши заслуги...

Увлекающийся Шиллинг не сомневался в успехе.

— Духовные власти позволили вам отлучиться из обители. Увидите, скоро разрешат покинуть ее совсем! Об этом будет просить сам министр.

Хорошо было слушать друзей!.. Отец Иакинф начинал верить, что он освободится от монашеского клобука. Все ближе день отъезда, скоро опять путешествие. Там, у границ, к которым он собирался, кочевали монголы. Жизнь, обычаи их никем из европейцев не исследованы. Хотя монголы коренные обитатели Восточной Азии, в китайских летописях терялась нить их истории. Не все ясно о происхождении их языка. Эти филологические сведения нужны для давно задуманного отцом Иакинфом труда: перевода монгольско-китайского словаря на русский.

«Высшая, полезнейшая цель» призывала ученого. Он занимался сборами к путешествию, когда в келье появился гость. Пушкин!..

— Не помешал ли? — спросил Александр Сергеевич.

— Выразить не могу, как порадовали!..

Отец Иакинф действительно не мог скрыть своей радости. После поездки в Арзрум Пушкин гостил в Москве и только-только прибыл в Питер. И вот сразу же вспомнил, зашел сюда, в келью.

Александр Сергеевич говорил о недавнем путешествии:

— Ныне и я повидал в астраханских степях пастухов-кочевников, бывал в их кибитках. Невольно вспомнил монголов, о коих вы столь живо рассказывали. Согласен: обычаи кочующих племен относятся ко временам авраамовским.

Как и в прошлые посещения, Пушкин любовался китайскими реликвиями, листал книги, любезно произнес:

— Скоро ли прочтем ваше описание Срединного государства? Право, пора Китаю перестать быть загадкой. Недавно

знакомился с некоторыми трудами о сей стране. Без лести... им недостает вашей учености.

Хозяин кельи угощал чаем. Сам особенным способом заваривал его, объясняя:

— Это первого сбора, наилучший чай. Его мне присылают пекинские друзья.

Пушкин с веселым любопытством наблюдал за приготовлениями, подержал в руках серый глиняный кувшинчик, который отец Иакинф наполнил водой.

После чая заговорили о предстоящей экспедиции.

— Слышал, собираетесь в дальний путь, — тень легла на лицо Пушкина. — Дорога эта лежит к несчастным друзьям моим...

Стремительно он поднялся с кресла, подбежал к висящей на стене карте.

— Иркутск, Селенгинск, Чита, Нерчинск... — называл Пушкин и негромко промолвил: — Они здесь, друзья!.. Завидую вам: увидите, узнаете лучших из людей!..

Пушкин сел в кресло, умолк. Отец Иакинф подошел к гостю ближе, как бы невзначай обронил:

— А что, ежели отправитесь с нами, Александр Сергеевич? Встретитесь с теми, к кому обращены ваши мысли... Совершите путешествие в Пекин...

Поэт поднял голову, глаза его заблестели. Он опять подошел к карте. Длинный ноготь коснулся пестрого листа.

— Отправиться сюда? К ним?.. Вы думаете, это возможно?..

— Возможно ли? Пушкин собирается в Китай! — удивлялись петербуржцы.

У Одоевского встретились отец Иакинф и Шиллинг. Оживленный, каким давно не видели его, пришел Александр Сергеевич. Одоевский заговорил о том, что пора русской науке обогатиться сведениями о народах Азии, и признался, что начал писать давно замышляемый роман о России и ее восточном соседе.

— Пишите, пишите! — откликнулся отец Иакинф. — Расскажите, что Россия и Китай когда-нибудь станут светочем для всего мира...

— Зная труды ваши, готов согласиться, — ответил Одоевский. — Героев своих вижу во тьме веков... Мысленно иду к ним навстречу. А вы, Александр Сергеевич, не колеблясь, присоединяйтесь к ориенталистам нашим, пользуйтесь случаем. Посетите места, неведомые европейцам... Не обрести на изъезженных дорогах Европы того, что ждет в таинственных дебрях Азии.

В тот вечер Пушкин прочитал:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец...

Окончив чтение, долго молчал. Казалось, не слышал возгласов одобрения. А потом с жаром произнес:

— Не считайте, что по минутному влечению готов совершить путешествие с вами. То давние мечтания. Но, опасаюсь, несбыточные...

И оказался прав: мечтаниям не суждено было сбыться.

Пушкин испрашивал разрешения у Бенкендорфа: «Пока я не женат и не занят службою, я бы желал отправиться путешествовать во Францию или в Италию; в случае же, если на это не будет согласия, я бы просил милостивого дозволения посетить Китай вместе с миссией, которая туда едет...»

Мог ли быть лицемернее ответ:

«Государь император не изволил снизойти к Вашей просьбе о разрешении посетить иностранные земли, думая, что это слишком расстроит Ваши денежные дела и в то же время отвлечет Вас от Ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай точно так же не может осуществиться, так как все чиновники уже назначены и никто из них не может быть замещен без уведомления о том Пекинского двора».

— Велел Пушкин обязательно очерки о путешествии в «Литературную газету» присылать, сообщать о всем достопримечательном, — рассказывал отец Иакинф.

Поручил Пушкин еще одно дело, о нем Бичурин умолчал. Наказал поэт передать друзьям в Сибири, что помнит, верит, ждет встречи...

Сонечка, провожая дядю Никиту, долго и горячо целовала его.

— Не надо подарков, — шепнула. — Сами скорей возвращайтесь.

Саня жал руку, а Татьяна Лаврентьевна просила:

— Берегите себя!..

Отец Иакинф отвел Татьяну Лаврентьевну в сторону.

— У меня просьба... Поездка, занятия на новых местах, возможно, потребуют времени больше, нежели рассчитываю. Буду в местах, ото всего оторванных. Возьмите на себя посылку денег родичам моим, оставшимся в деревне.

Родичи?.. Татьяна Лаврентьевна знала, что в детстве еще потерял Никитушка мать. Когда он находился в Китае, умер в Шинери дьячок Иаков, а братьев, сестер у него не было. Отец Иакинф понял немой вопрос.

— Не по крови родичи, но с младенчества дорогие мне люди. Рассказывал о них не однажды, постарели небось Кирик и его жена: не сладка их жизнь. Хоть немногим облегчаю их участь суммой, которую, покуда жив, посылаю в Шинери.

«Всегда, — подумала Татьяна Лаврентьевна, — молчал Никитушка о добром, что совершал, таким и остался...»

Эпилог

В келье, отведенной ему, ничто не меняется. В оконце, куда, отложив перо, взглядывает монах Иакинф, он видит те же стены храмов и дорожки монастырского сада. Только вдали на кладбище гуще стали кресты надгробных памятников. Невольно наводят они на мысль о том, что, пожалуй, не так уж много времени осталось до часа, когда здесь же вырастет надгробие с именем грешного монаха Иакинфа Бичурина. Мысль эта ничуть не пугает. Она заставляет лишь снова взять в руки перо. Опять строка за строкой нанизываются ровные линии букв. Сколько их уже вывело его перо!.. И все-таки он не сделал всего, что, став другом Чжунго, положил осуществить.

Для исполнения задуманного он хотел бы отодвинуть час своей кончины. Что, кроме труда, удерживает его на земле? Он остался плененным в темной, ненавистной обители. Попрежнему на нем монашеские одежды.

Шиллинг сдержал обещание. Сам министр ходатайствовал о снятии сана с прославившего русскую науку монаха Иакинфа. Но царь Николай Первый «высочайше повелеть соизволил»: оставить Иакинфа Бичурина попрежнему в монашестве, в Александро-Невской лавре.

Монах-ученый казался в миру опасным. Пусть остается в монастыре. Ну что ж... С другими расправились куда страшнее. В новых путешествиях узнал отец Иакинф тех, кого хотели убить тюрьмой, каторгой.

«Завидую вам: увидите, узнаете лучших из людей!..» — говорил о них Пушкин.

Чтобы повидать их, Иакинф Бичурин переплыл Байкал, добрался до Петровского завода. В сырости, в потемках ка-

земата встретился с узниками. Среди них нашел товарища по ученым занятиям, единомышленника, друга...

Отец Иакинф касается железных четок, лежащих у груды исписанных листков. Тонко выточенные звенья. Некогда металл их позвякивал на кандалах, надетых на Николая Бестужева.

«Вы бы примирились с человечеством, если б познакомились с моим братом Николаем. Такие души искупают тысячи наветов на человека».

Тот, кто знал Николая Бестужева, не мог не повторять этих слов его брата. Писатель, художник, физик, историк. И в кандалах Бестужев продолжал ученые занятия, писал историю российского флота, мастерил хронометр с помощью пилки и ножика.

Монаху Иакинфу вспоминается, как Николай Бестужев писал его портрет, и сейчас он слышит слова, произнесенные узником Петропавловского каземата, государственным преступником: «Область наук невозбранима никому. Можно отнять все, кроме того, что ею обретено».

Наука заставляла Бестужева действовать, бороться. Познания в механике он поспешил применить для облегчения каторжного труда заводских рабочих. Оказавшись на земле бурят-монголов, не только занялся собиранием сведений о их жизни и обычаях, но просвещал их, учил русской грамоте.

Часто мыслями отец Иакинф обращался к далекому другу. Все там он, в Сибири... Горечь, неудовлетворенность в его последних письмах. Тоска по воле в строчках.

«Если жить, то действовать, а недеятельность хуже католического чистилища, и потому я пилю, строгаю, копаю, малюю, а время все-таки холодными каплями падает мне на горячую, безумную голову — тут же присоединяются щелчки по бедному, больному сердцу...»

Но он не сдавался.

«Я разноображу жизнь свою. Обвиваю колечки, стучу молотком, мажу кистью, бросаю землю лопатой; часто пот льет с меня градом, часто я утомляюсь до того, что не в силах пошевелить перстом...»

Позже, снова путешествуя по Сибири, встретился отец Иакинф и с «первым, бесценным другом» Пушкина — Иваном Пущиным. От него вез поэту душевные слова привета. Готовился обрадовать Александра Сергеевича, рисовал, как просветлеет лицо Пушкина, как заставит пересказать все о делах, о жизни товарища.

Но жестокой вестью встретил Петербург: не стало гения России. Убили Пушкина...

Когда писал историю Пугачева, посетовал поэт: остается темной история калмыков, с которыми в соседстве жили яицкие казаки. Яицк первым взбунтовался и двинулся за Пугачевым. Бунт этот связывали с калмыками, кочующими по соседству с Яицком.

— Не могу доискаться, — сказал Пушкин, — что послужило причиной бунта.

— О том сообщаю, — ответил отец Иакинф, — в историческом обозрении ойротов. У нас их прозывают калмыками.

Как это было похоже на Александра Сергеевича! Вскочил, захлопал в ладоши:

— Вы чудодей, истинно чудодей!.. Где же обнаружили?..

— В актах Российского и Китайского государства... Книга моя вот-вот выйдет в свет. Почту долгом тотчас представить вам...

— Нет, нет! Не могу ждать. Покажите рукопись раньше!

Здесь, в этой келье, вместе листали старые записи, перебирали списки с документов, рассказывавших о действиях Эсень-хана, положившего в конце пятнадцатого века основание Ойротскому союзу. Ойроты вступили в борьбу с Китаем и чуть не поголовно были истреблены. Остатки ойротов переселились в степи от Волги до Урала. В прошлом веке потомки ойротов, известные под именем волжских калмыков, двинулись обратно к Великой Китайской стене. Казаки не пожелали преследовать кочевников. За это по царскому приказу была учинена в Яицке жестокая расправа. Тогда-то и поднялась, взбунтовалась яицкая вольница.

Пробегая рукопись, Пушкин заметил:

— Добросовестность труда, верность разысканий ваших, отец Иакинф, драгоценны. Вы проясняете историю окраин наших, без чего не может быть полной общая история отечества. Ежели позволите, ваши сведения помещу в книгу о Пугачеве.

Отец Иакинф передал поэту готовую корректуру, с нее для пушкинского издания перепечатали выбранные места. Поэт написал к ним лестное примечание:

«Самым достоверным и беспристрастным известием о набеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком. С благодарностью помещаем здесь сообщенный им отрывок из неизданной еще его книги «О калмыках».

Пушкин не дождался новых книг Иакинфа Бичурина. Описание Китая вышло после смерти поэта.

В один год с Пушкиным умер Павел Львович Шиллинг. Доброжелатель, постоянный покровитель отца Иакинфа, немало он сделал для облегчения его участи, поддерживая замыслы и разделяя убеждения ученого.

Нет в живых и милого дружка отроческих лет. В его доме монаха Иакинфа называли Никитушкой, дядей Никитой, а теперь кличут дедушкой. Дети и внуки Александра Ивановича и Татьяны Лаврентьевны считают отца Иакинфа родным. И сам он привязан к ним. Не забыл ту, которой отдал любовь свою... Ненадолго пережила она мужа.

Ласкается к отцу Иакинфу темноволосая девочка. Он узнает в ней то смешливую проказницу Таню, то баловницу Соню, требовавшую от дяди Никиты китайских сказок. И странно думать, что это уже дочь Сони, «махонькая», кличет его дедушкой. Не заметил, как стал стариком. То ворчит, то балует названных внуков. Летом гостит на даче у Мициковых — это фамилия Сониного мужа.

Соня помогла издать книгу «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение». По беззаботности в денежных делах часто оставался ученый без средств. Соня проведала о затруднениях друга семьи и на свои деньги напечатала его труд.

Печалится отец Иакинф, что многого еще не свершил. Но он не бездействовал. «Ученые попугаи» злобно упрекали его в пристрастии к Китаю, кричали, что ничего не хочет знать, кроме «защищаемого и любимого им государства». Что возразить невеждам? Отец Иакинф окидывает взглядом полки, где выстроились его книги. В них друг Чжунго первый раскрыл неверность сведений и неосновательность мнений о великом китайском народе. Он показал китайцев такими, какими наблюдал четырнадцать лет неустанно, без предубеждения, стараясь проникнуть в душу и обычаи великого (он никогда не откажется повторять это) народа.

Некоторых возмутило, что смел он сравнивать Китай с Европой. Да, он говорил: «Китай в знании естественных и математических наук далеко отстал от Западной Европы, а эта последняя еще не дошла до Китая в других отношениях».

Как вознегодовали, прочтя это, хулители его! Сметь утверждать, что Европе есть чему поучиться у Китая!.. Тогда начали кричать, что он слишком любит все китайское, что он сроднился с «китайщиной». Издевались даже над слогом его, называли церемонным, терпимым в Пекинском приказе, а на Западе недопустимым.

И все же почтен он званием члена Парижского азиатского общества. Из Лондона и Парижа обращаются к нему за

разрешением споров, происходящих между европейскими синологами.

Несколько раз Академия наук присуждала ему Демидовские премии. Первым отметили труд «Историческое обозрение ойротов или калмыков». Заслужило премию и «Статистическое описание Китайской империи», в котором со всей полнотой объяснил он государственное и гражданское устройство Чжунго.

Академия присудила премию за составленную им грамматику китайского языка, по которой учатся дети в кяхтинской школе. Давно с Шиллингом замышляли они создать такую школу: в ней воспитывают просвещенных чиновников и переводчиков, нужных России для сношений с Китаем.

По его совету, нескольких толковых ребят, учившихся там, прикомандировали к миссии, недавно отбывшей в Пекин. Пусть молодые ученики его сделают то, что не успел он сам.

...Ученый поднимается из-за стола, делает несколько шагов и снова садится. Верить ли известиям, не столь давно облетевшим мир? Чужестранцы, «заморские дьяволы», вторглись в землю его друзей. Друзья!.. Их много, знатные и простые люди, старые и молодые, мастера всех ремесел, не знающие усталости в искусном труде. Это те, о ком он любил говорить с Ма Цзы-гуаном, — ученые, художники, писатели, прославившие свою родину. Они здесь, рядом, в книгах...

Русский друг снова и снова вызывал в памяти народ, страну, которую он полюбил.

Там, в этой стране, люди вежливы.

«Сделайте милость, уходите и увезите с собой опиум и миссионеров», — много раз повторяли они чужеземцам.

Но «заморские дьяволы» обходили запреты и везли контрабандой губительную отраву.

Впрочем, следует прислушаться к тому, что говорит герой утопии Владимира Одоевского китайский студент Цунгиев, путешествующий по России в 4338 году: «Да, мой друг, мы еще отстаем от наших знаменитых соседей, будем же учиться, пока мы молоды и есть еще время». И юноша рассказывает, каким всеобщим уважением пользуется наука в России. Залы Ученого конгресса переполнены. Молодые люди стремятся ознаменовать преданность родине открытиями в различных отраслях познаний. Наука достигла такого развития, что человек приобрел почти полную власть над природой. Теплохранилища, устроенные на экваторе и в городах, видоизменили суровый климат северного полушария...

Герой повести рассказывает также о людях, мнящих себя

самыми сильными и передовыми в мире, кичащихся своей цивилизацией. Эти люди, лишенные благородных человеческих побуждений, нападают на еще слабые, неразвитые страны. Поначалу они одолевают, пока в Азии им не дают решительный отпор китайцы, которые вместе с русскими достигли вершин культуры.

Неужели это утопия? Упрямая складка на лбу разглаживается. Подмигивая кому-то невидимому, ученый улыбается в седую поредевшую бороду.

— А все же, мыслю, предсказания ваши сбудутся, пожалуй, куда как раньше... — сказал Иакинф Бичурин автору, когда тот читал гостям свою фантазию.

Другие лишь снисходительно улыбались. Возможно ли: Россия и Китай во главе мирового прогресса?!

— Совсем во вкусе отца Иакинфа! — насмешливо бросил кто-то.

Ну что ж, для некоторых будущее так же темно и загадочно, как прошлое. Но тот, кто обращается вглубь веков, кто прислушивается к голосу древних летописцев, тот постигает еще не написанные страницы истории.

Отец Иакинф задумывается, раскрывает древнюю книгу Ши цзи, читает вещие слова:

«...По заключении мира и родства между государствами, народы предадутся радости; ... из рода в род будут веселиться, как будто начали новую жизнь. Пусть люди составят одно семейство».

Он останавливается на этих строчках, перечитывает их сначала в иероглифах, потом в русском переводе. Доживет ли он, дождется ли такой братской дружбы России с Китаем?.. Во всяком случае, сделанное им приблизит этот час.

Ученый снова берется за перо, уверенно пишет: «Представляя в уме минувшие события, полагаю — ничто не может возмутить братского согласия великих народов...»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги по адресу: Москва, А-55, Сущевская, 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.

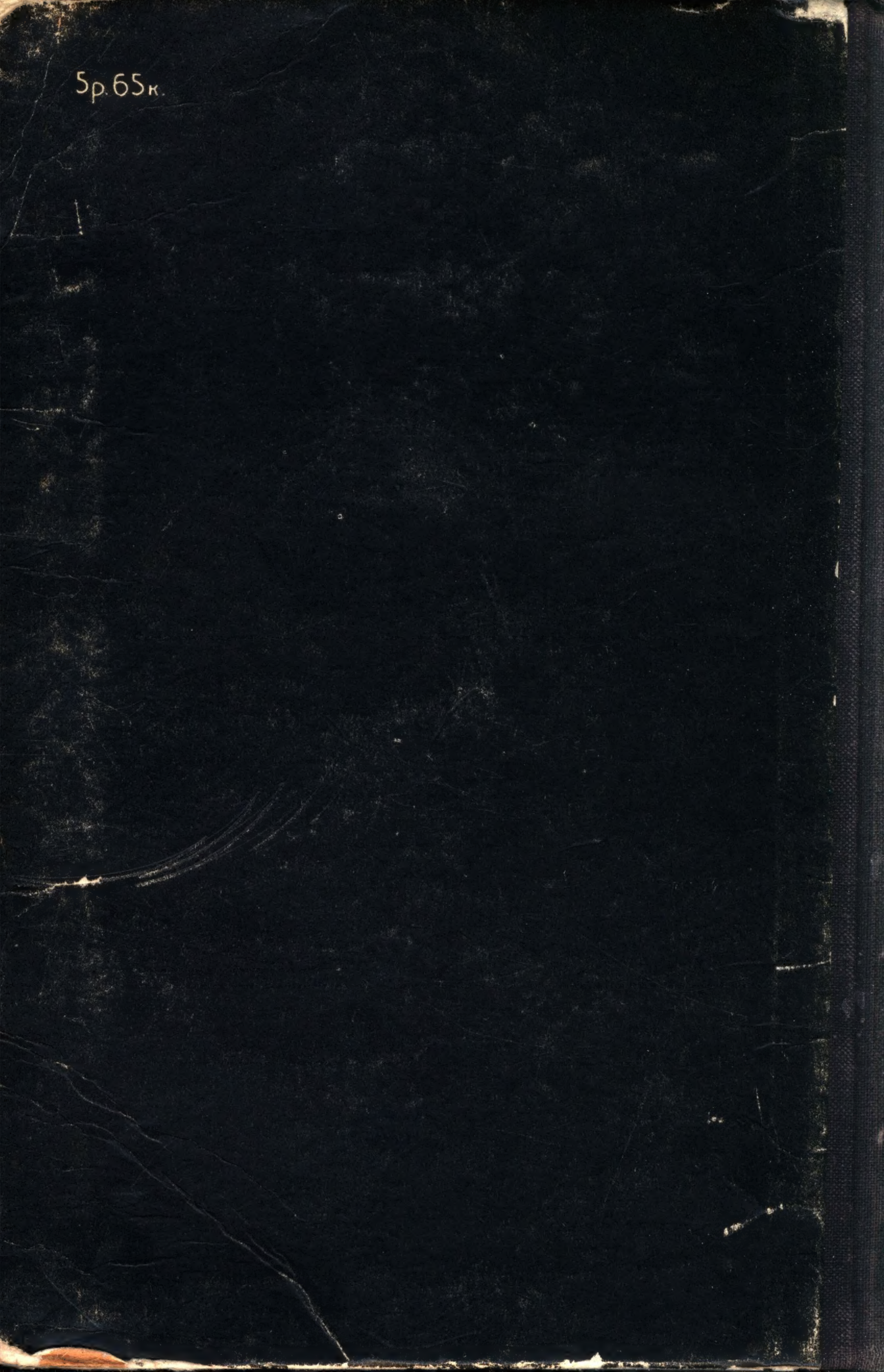
Таланов Александр Викторович,
Ромова Нина Игнатьевна

ДРУГ ЧЖУНГО

Редактор *Г. Малинина*
Иллюстрации художника *И. Вусковича*
Оформление художника *Е. Бургункера*
Художествен. редактор *Н. Печникова*
Технический редактор *И. Егорова*

А05922 Подп. к печати 29/X 1955 г.
Бумага $60 \times 92^{1}/_{16}$ = 6,75 бум. л. = 13,5 печ. л.+4 вклейки 12,5 уч.-изд. л.
Заказ 1465 Тираж 90 000 экз.
Цена 5 р. 65 к.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.


5р. 65к.

А.ТАЛАНОВ
Н.РОМОВА
ДРУГ ЧЖУНГО